891.73
C41
I 1921
v.6
cop.2

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

891.73
C41
I1921
v.6
cop.2

Filmed 88-0310

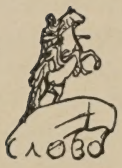
Lucia

СОЧИНЕНІЯ
А. П. ЧЕХОВА
VI

СОЧИНЕНІЯ

А. П. ЧЕХОВА

ТОМЪ
VI



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «СЛОВО»

891.73
С41
I1921
V.6
cop.2

ТИНА

I

Въ большой дворъ водочнаго завода «наслѣдниковъ М. Е. Ротштейнъ», граціозно покачиваясь на сѣдлѣ, въѣхалъ молодой человѣкъ въ бѣлоснѣжномъ офицерскомъ кителѣ. Солнце беззаботно улыбалось на звѣздочкахъ поручика, на бѣлыхъ стволахъ березъ, на кучахъ битаго стекла, разбросанныхъ тамъ и сямъ по двору. На всемъ лежала свѣтлая здоровая красота лѣтняго дня, и ничто не мѣшало сочной молодой зелени весело трепетать и перемигиваться съ яснымъ, голубымъ небомъ. Даже грязный, закопченый видъ кирпичныхъ сараевъ и душный запахъ сивушнаго масла не портили общаго хорошаго настроенія. Поручикъ весело спрыгнулъ съ сѣдла, передалъ лошадь подбѣжавшему человѣку и, поглаживая пальцемъ свои тонкіе, черные усики, вошелъ въ парадную дверь. На самой верхней ступени ветхой, но свѣтлой и мягкой лѣстницы его встрѣтила горничная съ немолодымъ, нѣсколько надменнымъ лицомъ. Поручикъ молча подалъ ей карточку.

Идя въ покои съ карточкой, горничная могла прочесть: «Александръ Григорьевичъ Сокольскій». Черезъ минуту она вернулась и сказала поручику,

что барышня принять его не можетъ, такъ какъ чувствуетъ себя не совсѣмъ здоровой. Сокольскій поглядѣлъ на потолокъ и вытянулъ нижнюю губу.

— Досадно! — сказалъ онъ. — Послушайте, моя милая, — живо заговорилъ онъ: — подите и скажите Сусаннѣ Моисеевнѣ, что мнѣ очень нужно поговорить съ ней. Очень! Я задержу ее только на одну минуту. Пусть она извинитъ меня.

Горничная пожала однимъ плечомъ и лѣниво пошла къ барышнѣ.

— Хорошо! — вздохнула она, вернувшись немного погодя. — Пожалуйте!

Поручикъ прошелъ за ней пять-шесть большихъ, роскошно-убранныхъ комнатъ, корридоръ и въ концѣ-концовъ очутился въ просторной квадратной комнатѣ, гдѣ съ перваго же шага его поразило изобиліе цвѣтущихъ растеній и сладковатый, густой до отвращенія запахъ жасмина. Цвѣты шпалерами тянулись вдоль стѣнъ, заслоняя окна, свѣшивались съ потолка, вились по угламъ, такъ что комната походила больше на оранжерею, чѣмъ на жилое помѣщеніе. Синицы, канарейки и щеглята съ пискомъ возились въ зелени и бились объ оконныя стекла.

— Простите, пожалуйста, что я васъ здѣсь принимаю, — услышалъ поручикъ сочный женскій голосъ, не безъ пріятности картавящій звукъ *р*.—Вчера у меня была мигрень и, чтобы она сегодня не повторилась, я стараюсь не шевелиться. Что вы хотите?

Какъ разъ противъ входа, въ большомъ стариковскомъ креслѣ, откинувши голову назадъ на подушку, сидѣла женщина въ дорогомъ китайскомъ шлафрокѣ и съ укутанной головой. Изъ-за вязаннаго шерстянаго платка виденъ былъ только блѣдный, длинный носъ съ острымъ кончикомъ и маленькой горбинкой, да одинъ большой, черный глазъ. Просторный шлафрокъ скрывалъ ея ростъ и формы, но по бѣлой красивой рукѣ, по голосу, по носу и глазу ей можно было дать не больше 26—28 лѣтъ.

— Простите, что я такъ настойчивъ . . . — началъ поручикъ, звякая шпорами. — Честь имѣю представиться: Сокольскій! Пріѣхалъ я по порученію моего кузена, а вашего сосѣда, Алексѣя Ивановича Крюкова, который . . .

— Ахъ, знаю! — перебила Сусанна Моисеевна. — Я знаю Крюкова. Садитесь, я не люблю, если передо мной стоитъ что-нибудь большое.

— Мой двоюродный братъ поручилъ мнѣ просить васъ объ одномъ одолженіи, — продолжалъ поручикъ, еще разъ звякнувъ шпорами и садясь. — Дѣло въ томъ, что вашъ покойный батюшка покупалъ зимою у брата овесъ и остался ему долженъ небольшую сумму. Срокъ векселямъ будетъ только черезъ недѣлю, но братъ убѣдительно просилъ васъ, не можете ли вы уплатить этотъ долгъ сегодня?

Поручикъ говорилъ, а самъ искоса поглядывалъ въ стороны.

«Да никакъ я въ спальнѣ?» — думалъ онъ.

Въ одномъ изъ угловъ комнаты, гдѣ зелень была гуще и выше, подъ розовымъ, точно погребальнымъ балдахиномъ, стояла кровать съ измятой, еще не прибранной постелью. Тутъ же на двухъ креслахъ лежали кучи скомканнаго женскаго платья. Подолы и рукава, съ помятыми кружевами и оборками, свѣшивались на коверъ, по которому тамъ и сямъ бѣлѣли тесемки, два-три окурка, бумажки отъ карамели . . . Изъ-подъ кровати глядѣли тупые и острые носы длиннаго ряда всевозможныхъ туфель. И поручику казалось, что приторный жасминный запахъ идетъ не отъ цвѣтовъ, а отъ постели и ряда туфель.

— А на какую сумму векселя? — спросила Сусанна Моисеевна.

— На двѣ тысячи триста.

— Ого! — сказала еврейка, показывая и другой большой черный глазъ. — А вы говорите — немного! Впрочемъ, все равно, что сегодня платить, что черезъ недѣлю, но у меня въ эти два мѣсяца послѣ смерти отца было такъ много платежей . . . столько глупыхъ хлопотъ, что голова кружится! Прошу покорнѣйше, мнѣ за границу нужно ѣхать, а меня заставляютъ заниматься глупостями. Водка, овесъ . . . — забормотала она, наполовину закрывая глаза: — овесъ, векселя, проценты или, какъ говоритъ мой главный приказчикъ, «пруценты» . . . Это ужасно. Вчера я просто прогнала акцизнаго. Пристаетъ ко мнѣ со своимъ Траллесомъ. Я ему и говорю: убирайтесь вы къ чорту съ вашимъ Траллесомъ, я никого не принимаю! Поцѣловалъ руку

и ушелъ. Послушайте, не можетъ ли вашъ братъ подождать мѣсяца два-три?

— Жестокій вопросъ! — засмѣялся поручикъ. — Братъ можетъ и годъ ждать, но я-то не могу ждать! Вѣдь это я, надо вамъ сказать, ради себя хлопочу. Мнѣ нужны во что бы то ни стало деньги, а у брата, какъ нарочно, ни одного свободнаго рубля. Приходится поневолѣ ѣздить и собирать долги. Сейчасъ былъ у арендатора-мужика, теперь вотъ у васъ сижу, отъ васъ еще куда-нибудь поѣду и такъ, пока не соберу пяти тысячъ. Ужасно нужны деньги!

— Полноте, на что молодому человѣку деньги? Прихоть, шалости. Что, вы прокутились, проигрались, женитесь?

— Вы угадали! — засмѣялся поручикъ и, слегка приподнявшись, звякнулъ шпорами. — Дѣйствительно, я женюсь . . .

Сусанна Моисеевна пристально поглядѣла на гостя, сдѣлала кислое лицо и вздохнула.

— Не понимаю, что за охота у людей жениться! — сказала она, ища вокругъ себя носовой платокъ. — Жизнь такъ коротка, такъ мало свободы, а они еще связываютъ себя.

— У всякаго свой взглядъ . . .

— Да, да, конечно, у всякаго свой взглядъ . . . Но, послушайте, развѣ вы женитесь на бѣдной? По страстной любви? И почему вамъ нужно непремѣнно пять тысячъ, а не четыре, не три?

«Какой, однако, у нея длинный языкъ!» — подумалъ поручикъ и отвѣтилъ:

— Исторія въ томъ, что по закону офицеръ не можетъ жениться раньше 28 лѣтъ. Если угодно жениться, то или со службы уходи, или же взноси пять тысячъ залога.

— Ага, теперь понимаю. Послушайте, вотъ вы сейчасъ сказали, что у каждаго свой взглядъ . . . Можетъ-быть, ваша невѣста какая-нибудь особенная, замѣчательная, но . . . я рѣшительно не понимаю, какъ это порядочный человѣкъ можетъ жить съ женщиной? Не понимаю, хоть убейте. Живу я уже, слава тебѣ Господи, 27 лѣтъ, но ни разу въ жизни не видѣла ни одной сносной женщины. Всѣ ломаки, безнравственныя, лгуньи . . . Я терплю только горничныхъ и кухарокъ, а такъ-называемыхъ порядочныхъ я къ себѣ и на пушечный выстрѣлъ не подпускаю. Да слава Богу, онѣ сами меня ненавидятъ и не лѣзутъ ко мнѣ. Коли ей нужны деньги, такъ она мужа пришлетъ, а сама ни за что не поѣдетъ, не изъ гордости, нѣтъ, а просто изъ трусости, боится, чтобъ я ей сцены не сдѣлала. Ахъ, я отлично понимаю ихъ ненависть! Еще бы! Я откровенно выставляю на видъ то, что онѣ всѣми силами стараются спрятать отъ Бога и людей. Какъ же послѣ этого не ненавидѣть? Навѣрное, вамъ про меня ужъ съ три короба наговорили . . .

— Я такъ недавно сюда пріѣхалъ, что . . .

— Но, но, но . . . по глазамъ вижу! А развѣ жена вашего брата не снабдила васъ напутствіемъ? Отпускать молодого человѣка къ такой ужасной женщинѣ и не предостеречь — какъ можно? Хаха . . . Но что, какъ вашъ братъ? Онъ у васъ

молодецъ, такой красивый мужчина... Я его нѣсколько разъ въ обѣднѣ видѣла. Что вы на меня такъ глядите? Я очень часто бываю въ церкви! У всѣхъ одинъ Богъ. Для образованнаго человѣка не такъ важна внѣшность, какъ идея... Не правда ли?

— Да, конечно... — улыбнулся поручикъ.

— Да, идея... А вы совсѣмъ не похожи на вашего брата. Вы тоже красивы, но вашъ братъ гораздо красивѣе. Удивительно, какъ мало сходства!

— Немудрено: вѣдь мы не родные, а двоюродные.

— Да, правда. Такъ вамъ непремѣнно сегодня нужны деньги? Почему сегодня?

— На-дняхъ кончается срокъ моего отпуска.

— Ну, что-жъ съ вами дѣлать! — вздохнула Сусанна Моисеевна. — Такъ и быть ужъ, дамъ вамъ денегъ, хотя и знаю, что будете бранить меня. Поссоритесь послѣ свадьбы съ женой и скажете: «Если-бъ та пархатая жидовка не дала мнѣ денегъ, такъ я, можетъ-быть, былъ бы теперь свободенъ, какъ птица!» Ваша невѣста хороша собой?

— Да, ничего...

— Гм!.. Все-таки лучше хоть что-нибудь, хоть красота, чѣмъ ничего. Впрочемъ, никакой красотой женщина не можетъ заплатить мужу за свою пустоту.

— Это оригинально! — засмѣялся поручикъ. — Вы сами женщина, а такая женофобка!

— Женщина... — усмѣхнулась Сусанна. — Развѣ я виновата, что Богъ послалъ мнѣ такую

оболочку? Въ этомъ я такъ же виновата, какъ вы въ томъ, что у васъ есть усы. Не отъ скрипки зависитъ выборъ футляра. Я себя очень люблю, но когда мнѣ напоминаютъ, что я женщина, то я начинаю ненавидѣть себя. Ну, вы уйдите отсюда, я одѣнусь. Подождите меня въ гостиной.

Поручикъ вышелъ и первымъ дѣломъ глубоко вздохнулъ, чтобы отдѣлаться отъ тяжелаго жасминнаго запаха, отъ котораго у него уже начинало кружить голову и першить въ горлѣ. Онъ былъ удивленъ.

«Какая странная! — думалъ онъ, осматриваясь.— Говоритъ складно, но . . . ужъ черезчуръ много и откровенно. Психопатка какая-то».

Гостиная, въ которой онъ стоялъ теперь, была убрана богато, съ претензіей на роскошь и моду. Тутъ были темныя бронзовыя блюда съ рельефами, виды Ниццы и Рейна на столахъ, старинныя бра, японскія статуетки, но всѣ эти поползновенія на роскошь и моду только оттѣняли ту безвкусицу, о которой неумолимо кричали золоченые карнизы, цвѣтистые обои, яркія бархатныя скатерти, плохія олеографіи въ тяжелыхъ рамахъ. Безвкусицу дополняли незаконченность и лишняя тѣснота, когда кажется, что чего-то недостаетъ и что многое слѣдовало бы выбросить. Замѣтно было, что вся обстановка заводилась не сразу, а частями, путемъ выгодныхъ случаевъ, распродажъ.

Поручикъ самъ обладалъ не Богъ вѣсть какимъ вкусомъ, но и онъ замѣтилъ, что вся обстановка носитъ на себѣ одну характерную особенность,

какую нельзя стереть ни роскошью, ни модой, а именно — полное отсутствіе слѣдовъ женскихъ, хозяйскихъ рукъ, придающихъ, какъ извѣстно, убранству комнатъ оттѣнокъ теплоты, поэзіи и уютности. Здѣсь вѣяло холодомъ, какъ въ вокзальныхъ комнатахъ, клубахъ и театральныхъ фойэ.

Собственно еврейскаго въ комнатѣ не было почти ничего, кромѣ развѣ одной только большой картины, изображавшей встрѣчу Іакова съ Исавомъ. Поручикъ оглядывался кругомъ и, пожимая плечами, думалъ о своей новой, странной знакомкѣ, о ея развязности и манерѣ говорить. Но вотъ раскрылась дверь и на порогѣ появилась она сама, стройная, въ длинномъ черномъ платьѣ, съ сильно затянутой, точно выточенной таліей. Теперь ужъ поручикъ видѣлъ не только носъ и глаза, но и бѣлое, худощавое лицо, черную кудрявую, какъ барашекъ, голову. Она не понравилась ему, хотя и не показалась некрасивой. Вообще къ нерусскимъ лицамъ онъ питалъ предубѣжденіе, а тутъ къ тому же нашелъ, что къ чернымъ кудряшкамъ и густымъ бровямъ хозяйки очень не шло бѣлое лицо, своею бѣлизною напоминавшее ему почему-то приторный жасминный запахъ, что уши и носъ были поразительно блѣдны, какъ мертвые или вылитые изъ прозрачнаго воска. Улыбнувшись, она вмѣстѣ съ зубами показала блѣдныя десны, что тоже ему не понравилось.

«Блѣдная немочь... — подумалъ онъ. — Вѣроятно, нервна, какъ индюшка».

— А вотъ и я! Пойдемте! — сказала она, идя быстро впереди его и обрывая на пути съ цвѣтовъ желтые листки. — Сейчасъ я дамъ вамъ деньги и, если хотите, покормлю завтракомъ. Двѣ тысячи триста рублей! Послѣ такого хорошаго гешефта вы съ аппетитомъ покушаете. Нравятся вамъ мои комнаты? Здѣшнія барыни говорятъ, что у меня пахнетъ чеснокомъ. Этой кухонной остротой исчерпывается все ихъ остроуміе. Спѣшу васъ увѣрить, что чесноку я даже въ погребѣ не держу, и когда однажды ко мнѣ пріѣхалъ съ визитомъ докторъ, отъ котораго пахло чеснокомъ, то я попросила его взять свою шляпу и ѣхать благоухать куда-нибудь въ другое мѣсто. Пахнетъ у меня не чеснокомъ, а лѣкарствами. Отецъ лежалъ въ параличѣ полтора года и весь домъ продушилъ лѣкарствами. Полтора года! Мнѣ жаль его, но я рада, что онъ умеръ: такъ онъ страдалъ!

Она провела офицера черезъ двѣ комнаты, похожія на гостиную, черезъ залу и остановилась въ своемъ кабинетѣ, гдѣ стоялъ женскій письменный столикъ, весь уставленный бездѣлушками. Около него, на коврѣ, валялось нѣсколько раскрытыхъ загнутыхъ книгъ. Изъ кабинета вела небольшая дверь, въ которую виденъ былъ столъ, накрытый для завтрака.

Не переставая болтать, Сусанна достала изъ кармана связку мелкихъ ключей и отперла какой-то мудреный шкапъ съ гнутой, покатой крышкой. Когда крышка поднялась, шкапъ прогудѣлъ жалобную мелодію, напоминавшую поручику Эолову

арфу. Сусанна выбрала еще одинъ ключъ и вторично щелкнула.

— У меня здѣсь подземные ходы и потайныя двери, — сказала она, доставая небольшой сафьяновый портфель. — Смѣшной шкапъ, не правда ли? А въ этомъ портфелѣ четверть моего состоянія. Посмотрите, какой онъ пузатенькій! Вѣдь вы меня не придушите?

Сусанна подняла на поручика глаза и добродушно засмѣялась. Поручикъ тоже засмѣялся.

«А она славная!» — подумалъ онъ, глядя, какъ ключи бѣгаютъ между ея пальцами.

— Вотъ онъ! — сказала она, выбравъ ключикъ отъ портфеля. — Ну-съ, г. кредиторъ, пожалуйте на сцену векселя. Въ сущности, какая глупость вообще деньги! Какое ничтожество, а вѣдь какъ любятъ ихъ женщины! Знаете, я еврейка до мозга костей, безъ памяти люблю Шмулей и Янкелей, но что мнѣ противно въ нашей семитической крови, такъ это страсть къ наживѣ. Копятъ и сами не знаютъ, для чего копятъ. Нужно жить и наслаждаться, а они боятся потратить лишнюю копейку. Въ этомъ отношеніи я больше похожа на гусара, чѣмъ на Шмуля. Не люблю, когда деньги долго лежатъ на одномъ мѣстѣ. Да и вообще, кажется, я мало похожа на еврейку. Сильно выдаетъ меня мой акцентъ, а?

— Какъ вамъ сказать? — замялся поручикъ. — Вы говорите чисто, но картавите.

Сусанна засмѣялась и сунула ключикъ въ замочекъ портфеля. Поручикъ досталъ изъ кармана

пачечку векселей и положилъ ее вмѣстѣ съ записной книжкой на столъ.

— Ничто такъ не выдаетъ еврея, какъ акцентъ, — продолжала Сусанна, весело глядя на поручика. — Какъ бы онъ ни корчилъ изъ себя русскаго или француза, но попросите его сказать слово пухъ, и онъ скажетъ вамъ: пэххх . . . А я выговариваю правильно: пухъ! пухъ! пухъ!

Оба засмѣялись.

«Ей-Богу, она славная!» — подумалъ Сокольскій.

Сусанна положила портфель на стулъ, сдѣлала шагъ къ поручику и, приблизивъ свое лицо къ его лицу, весело продолжала:

— Послѣ евреевъ никого я такъ не люблю, какъ русскихъ и французовъ. Я плохо училась въ гимназіи и исторіи не знаю, но мнѣ кажется, что судьба земли находится въ рукахъ у этихъ двухъ народовъ. Я долго жила за границей . . . даже въ Мадридѣ прожила полгода . . . наглядѣлась на публику и вынесла такое убѣжденіе, что, кромѣ русскихъ и французовъ, нѣтъ ни одного порядочнаго народа. Возьмите вы языки . . . Нѣмецкій языкъ лошадиный, англійскій — глупѣе ничего нельзя себѣ представить: файть-фійть-фюйть! Итальянскій пріятенъ только, когда говоришь на немъ медленно, если же послушать итальянскихъ чечотокъ, то получается тотъ же еврейскій жаргонъ. А поляки? Боже мой, Господи! Нѣтъ противнѣе языка! «Не пепши, Петше, пепшемъ вепша, бо можешь пшепепшитсь вепша пепшемъ». Это значитъ: не перчи, Петръ,

перцемъ поросенка, а то можешь переперчить поросенка перцемъ. Ха-ха-ха!

Сусанна Моисеевна закатила глаза и засмѣялась такимъ хорошимъ, заразительнымъ смѣхомъ, что поручикъ, глядя на нее, весело и громко расхохотался. Она взяла гостя за пуговицу и продолжала:

— Вы, конечно, не любите евреевъ... Я не спорю, недостатковъ много, какъ и у всякой націи. Но развѣ евреи виноваты? Нѣтъ, не евреи виноваты, а еврейскія женщины! Онѣ недалеки, жадны, безъ всякой поэзіи, скучны... Вы никогда не жили съ еврейкой и не знаете, что это за прелесть!

Послѣднія слова проговорила Сусанна Моисеевна протяжно, уже безъ воодушевленія и смѣха. Она умолкла, точно испугалась своей откровенности, и лицо ея вдругъ исказилось страннымъ и непонятнымъ образомъ. Глаза, не мигая, уставились на поручика, губы открылись и обнаружили стиснутые зубы. На всемъ лицѣ, на шеѣ и даже на груди задрожало злое, кошачье выраженіе. Не отрывая глазъ отъ гостя, она быстро перегнула свой станъ въ сторону и порывисто, какъ кошка, схватила что-то со стола. Все это было дѣломъ нѣсколькихъ секундъ. Слѣдя за ея движеніями, поручикъ видѣлъ, какъ пять пальцевъ скомкали его векселя, какъ бѣлая шелестящая бумага мелькнула передъ его глазами и исчезла въ ея кулакѣ. Такой рѣзкій, необычайный поворотъ отъ добродушнаго смѣха къ преступленію такъ поразилъ его, что онъ поблѣднѣлъ и сдѣлалъ шагъ назадъ...

А она, не сводя съ него испуганныхъ, пытливыхъ глазъ, водила сжатымъ кулакомъ себя по бедру и искала кармана. Кулакъ судорожно, какъ пойманная рыба, бился около кармана и никакъ не попадалъ въ щель. Еще мгновеніе, и векселя исчезли бы въ тайникахъ женскаго платья, но тутъ поручикъ слегка вскрикнулъ и, побуждаемый больше инстинктомъ, чѣмъ разумомъ, схватилъ еврейку за руку около сжатаго кулака. Та, еще больше оскаливъ зубы, рванулась изо всѣхъ силъ и вырвала руку. Тогда Сокольскій одной рукой плотно обхватилъ ея талію, другой — грудь, и у нихъ началась борьба. Боясь оскорбить женственность и причинить боль, онъ старался только не давать ей двигаться и уловить кулакъ съ векселями, а она, какъ угорь, извивалась въ его рукахъ своимъ гибкимъ, упругимъ тѣломъ, рвалась, била его въ грудь локтями, царапалась, такъ что руки его ходили по всему ея тѣлу и онъ поневолѣ причинялъ ей боль и оскорблялъ ея стыдливость.

«Какъ это необыкновенно! Какъ странно!» — думалъ онъ, не помня себя отъ удивленія, не вѣря себѣ и чувствуя всѣмъ своимъ существомъ, какъ его мутитъ отъ запаха жасмина.

Молча, тяжело дыша, натыкаясь на мебель, они переходили съ мѣста на мѣсто. Сусанну увлекла борьба. Она раскраснѣлась, закрыла глаза и разъ даже, не помня себя, крѣпко прижалась своимъ лицомъ къ лицу поручика, такъ что на губахъ его остался сладковатый вкусъ. Наконецъ, онъ поймалъ кулакъ . . . Разжавъ его, и не найдя

въ немъ векселей, онъ оставилъ еврейку. Красные, со встрепанными прическами, тяжело дыша, глядѣли они другъ на друга. Злое, кошачье выраженіе на лицѣ еврейки мало-по-малу смѣнилось добродушной улыбкой. Она расхохоталась и, повернувшись на одной ногѣ, направилась въ комнату, гдѣ былъ приготовленъ завтракъ. Поручикъ поплелся за ней. Она сѣла за столъ и, все еще красная, тяжело дыша, выпила полрюмки портвейна.

— Послушайте, — прервалъ молчаніе поручикъ: — вы, надѣюсь, шутите?

— Нисколько, — отвѣтила она, запихивая въ ротъ кусочекъ хлѣба.

— Гм!.. Какъ же прикажете понять все это?

— Какъ угодно. Садитесь завтракать!

— Но... вѣдь это нечестно!

— Можетъ быть. Впрочемъ, не трудитесь читать мнѣ проповѣдь. У меня свой собственный взглядъ на вещи.

— Вы не отдадите?

— Конечно, нѣтъ! Будь вы бѣдный, несчастный человѣкъ, которому ѣсть нечего, ну, тогда другое дѣло, а то — жениться захотѣлъ!

— Но вѣдь это не мои деньги, а брата!

— А брату вашему на что деньги? Женѣ на моды? А мнѣ рѣшительно все равно, есть ли у вашей belle-soeur платья, или нѣтъ.

Поручикъ уже не помнилъ, что онъ въ чужомъ домѣ, у незнакомой дамы, и не стѣснялъ себя приличіемъ. Онъ шагалъ по комнатѣ, хмурился и нервно теребилъ жилетку. Оттого, что еврейка

своимъ безчестнымъ поступкомъ уронила себя въ его глазахъ, онъ чувствовалъ себя смѣлѣе и развязнѣе.

— Чортъ знаетъ что! — бормоталъ онъ. — Послушайте, я не уйду отсюда, пока не получу отъ васъ векселей!

— Ахъ, тѣмъ лучше! — смѣялась Сусанна. — Хоть жить здѣсь оставайтесь, мнѣ же будетъ веселѣе.

Возбужденный борьбою, поручикъ глядѣлъ на смѣющееся, наглое лицо Сусанны, на жующій ротъ, тяжело дышащую грудь и становился смѣлѣе и дерзче. Вмѣсто того, чтобы думать о векселяхъ, онъ почему-то съ какою-то жадностью сталъ припоминать разсказы своего брата о романическихъ похожденіяхъ еврейки, о ея свободномъ образѣ жизни, и эти воспоминанія только подзадорили его дерзость. Онъ порывисто сѣлъ рядомъ съ еврейкой и, не думая о векселяхъ, сталъ ѣсть . . .

— Вамъ водки, или вина? — спрашивала со смѣхомъ Сусанна. — Такъ вы останетесь ждать векселя? Бѣдняжка, столько дней и ночей придется вамъ провести у меня въ ожиданіи векселей! Ваша невѣста не будетъ въ претензіи?

II

Прошло пять часовъ. Братъ поручика, Алексѣй Ивановичъ Крюковъ, облеченный въ халатъ и туфли, ходилъ у себя въ усадьбѣ по комнатамъ и нетерпѣливо посматривалъ въ окна. Это былъ высокій, плотный мужчина съ большой черной

бородой, съ мужественнымъ лицомъ и, какъ сказала правду еврейка, красивый собой, хотя уже и перевалилъ въ тотъ возрастъ, когда мужчины излишне толстѣютъ, брюзгнутъ и плѣшивѣютъ. По духу и разуму принадлежалъ онъ къ числу натуръ, которыми такъ богата наша интеллигенція: сердечный и добродушный, воспитанный, не чуждый наукъ, искусствъ, вѣры, самыхъ рыцарскихъ понятій о чести, но неглубокій и лѣнивый. Онъ любилъ хорошо поѣсть и выпить, идеально игралъ въ винтъ, зналъ вкусъ въ женщинахъ и лошадяхъ, въ остальномъ же прочемъ былъ тугъ и неподвиженъ, какъ тюлень, и чтобы вызвать его изъ состоянія покоя, требовалось что-нибудь необыкновенное, слишкомъ возмутительное, и тогда ужъ онъ забывалъ все на свѣтѣ и проявлялъ крайнюю подвижность: вопилъ о дуэли, писалъ на семи листахъ прошеніе министру, сломя голову скакалъ по уѣзду, пускалъ публично «подлеца», судился и т. п.

— Что же это нашего Саши до сихъ поръ нѣтъ? — спрашивалъ онъ жену, заглядывая въ окна. — Вѣдь обѣдать пора!

Подождавъ поручика до шести часовъ, Крюковы сѣли обѣдать. Вечеромъ, когда уже была пора ужинать, Алексѣй Ивановичъ прислушивался къ шагамъ, къ стуку дверей и пожималъ плечами.

— Странно! — говорилъ онъ. — Должно-быть, канальскій фендрикъ у арендатора застрялъ.

Ложась послѣ ужина спать, Крюковъ такъ и рѣшилъ, что поручикъ загостился у арендатора, гдѣ послѣ хорошей попойки остался ночевать.

Александръ Григорьевичъ вернулся домой только на другой день утромъ. Видъ у него былъ крайне сконфуженный и помятый.

— Мнѣ нужно поговорить съ тобой наединѣ . . . — сказалъ онъ таинственно брату.

Пошли въ кабинетъ. Поручикъ заперъ дверь и, прежде чѣмъ начать говорить, долго шагалъ изъ угла въ уголъ.

— Такое, братецъ, случилось,— началъ онъ: — что я не знаю, какъ и сказать тебѣ. Не повѣришь ты . . .

И онъ, заикаясь, краснѣя и не глядя на брата, разсказалъ исторію съ векселями. Крюковъ, разставя ноги и опустивъ голову, слушалъ и хмурился.

— Ты это шутишь? — спросилъ онъ.

— Кой чортъ шучу? Какія тутъ шутки!

— Не понимаю! — пробормоталъ Крюковъ, багровѣя и разводя руками. — Это даже . . . безнравственно съ твоей стороны. Бабенка на твоихъ глазахъ творитъ чортъ знаетъ что, уголовщину, дѣлаетъ подлость, а ты лѣзешь цѣловаться!

— Но я самъ не понимаю, какъ это случилось! — зашепталъ поручикъ, виновато мигая глазами. — Честное слово, не понимаю! Первый разъ въ жизни наскочилъ на такое чудовище! Не красотой беретъ, не умомъ, а этой, понимаешь, наглостью, цинизмомъ . . .

— Наглостью, цинизмомъ . . . Какъ это чистоплотно! Ужъ если такъ тебѣ захотѣлось наглости и цинизма, то взялъ бы свинью изъ грязи и съѣлъ бы ее живьемъ! По крайней мѣрѣ дешевле, а то — двѣ тысячи триста!

— Какъ ты изящно выражаешься! — поморщился поручикъ. — Я тебѣ отдамъ эти двѣ тысячи триста!

— Знаю, что отдашь, но развѣ въ деньгахъ дѣло? Ну ихъ къ чорту, эти деньги! Меня возмущаетъ твоя тряпичность, дряблость . . . малодушество поганое! Женихъ! Имѣетъ невѣсту!

— И не напоминай . . . — покраснѣлъ поручикъ. — Мнѣ теперь самому противно. Сквозь землю готовъ провалиться . . . Противно и досадно, что за пятью тысячами придется теперь къ теткѣ лѣзть . . .

Крюковъ долго еще возмущался и ворчалъ, потомъ, успокоившись, сѣлъ на софу и сталъ посмѣиваться надъ братомъ.

— Поручики! — говорилъ онъ съ презрительной ироніей въ голосѣ. — Женихи!

Вдругъ онъ вскочилъ, какъ ужаленный, топнулъ ногой и забѣгалъ по кабинету.

— Нѣтъ, я этого такъ не оставлю! — заговорилъ онъ, потрясая кулакомъ. — Векселя будутъ у меня! Будутъ! Я упеку ее! Женщинъ не бьютъ, но ее я изувѣчу . . . мокраго мѣста не останется! Я не поручикъ! Меня не тронешь наглостью и цинизмомъ! Нѣ-ѣтъ, чортъ ее подери! Мишка, — закричалъ онъ: — бѣги, скажи, чтобъ мнѣ бѣговыя дрожки заложили!

Крюковъ быстро одѣлся и, не слушая встревоженнаго поручика, сѣлъ на бѣговыя дрожки, рѣшительно махнулъ рукой и покатилъ къ Сусаннѣ Моисеевнѣ. Поручикъ долго глядѣлъ въ окно на

облако пыли, бѣжавшее за его дрожками, потянулся, зѣвнулъ и пошелъ къ себѣ въ комнату. Черезъ четверть часа онъ спалъ крѣпкимъ сномъ.

Въ шестомъ часу его разбудили и позвали къ обѣду.

— Какъ это мило со стороны Алексѣя! — встрѣтила его въ столовой невѣстка. — Заставляетъ ждать себя обѣдать!

— А развѣ онъ еще не пріѣхалъ? — зѣвнулъ поручикъ. — Гм... вѣроятно къ арендатору заѣхалъ.

Но и къ ужину не вернулся Алексѣй Ивановичъ. Его жена и Сокольскій порѣшили, что онъ заигрался въ карты у арендатора и, по всей вѣроятности, останется у него ночевать. Случилось же совсѣмъ не то, что они предполагали.

Крюковъ вернулся на другой день утромъ и, ни съ кѣмъ не здороваясь, молча юркнулъ къ себѣ въ кабинетъ.

— Ну, что? — зашепталъ поручикъ, глядя на него большими глазами.

Крюковъ махнулъ рукой и фыркнулъ.

— Да что такое? Что ты смѣешься?

Крюковъ повалился на диванъ, уткнулъ голову въ подушку и затрясся отъ сдерживаемаго хохота. Черезъ минуту онъ поднялся и, глядя на удивленнаго поручика плачущими отъ смѣха глазами, заговорилъ:

— Прикрой-ка дверь. Ну, да и ба-а-ба же, я тебѣ доложу!

— Получилъ векселя?

Крюковъ махнулъ рукой и опять захохоталъ.

— Ну, да и баба! — продолжалъ онъ. — Мерси, братецъ, за знакомство! Это чортъ въ юбкѣ. Пріѣзжаю я къ ней, вхожу, знаешь, такимъ Юпитеромъ, что самому себя страшно . . . нахмурился, насупился, даже кулаки сжалъ для пущей важности . . . «Сударыня, говорю, со мной шутки плохи!» — и прочее въ такомъ родѣ. И судомъ грозилъ, и губернаторомъ . . . Она сначала заплакала, сказала, что пошутила съ тобой, и даже повела меня къ шкапу, чтобы отдать деньги, потомъ стала доказывать, что будущность Европы въ рукахъ русскихъ и французовъ, обругала женщинъ . . . Я по-твоему развѣсилъ уши, оселъ я этакій . . . Спѣла она панегирикъ моей красотѣ, потрепала меня за руку около плеча, чтобы посмотрѣть, какой я сильный и . . . какъ видишь, сейчасъ только отъ нея убрался . . . Ха-ха . . . Отъ тебя она въ восторгѣ!

— Хорошъ мальчикъ! — засмѣялся поручикъ. — Женатый, почтенный . . . Что, стыдно? Противно? Однако, братъ, не шутя говоря, у васъ въ уѣздѣ своя царица Тамара завелась . . .

— Кой чортъ въ уѣздѣ? Другого такого хамелеона во всей Россіи не сыщешь! Отродясь ничего подобнаго не видывалъ, а ужъ я ли не знатокъ по этой части? Кажется, съ вѣдьмами жилъ, а ничего подобнаго не видывалъ. Именно наглостью и цинизмомъ беретъ. Что въ ней завлекательно, такъ это рѣзкіе переходы, переливы красокъ, эта порывистость анаѳемская . . . Брррр! А векселя — фюйть! Пиши — пропало. Оба мы съ тобой великіе

грѣшники, грѣхъ пополамъ. Считаю за тобою не 2.300, а половину. Чуръ, женѣ говорить, что у арендатора былъ.

Крюковъ и поручикъ уткнули головы въ подушки и принялись хохотать. Поднимутъ головы, взглянутъ другъ на друга и опять упадутъ на подушки.

— Женихи! — дразнилъ Крюковъ. — Поручики!

— Женатые! — отвѣчалъ Сокольскій. — Почтенные! Отцы семействъ!

За обѣдомъ они говорили намеками, перемигивались и то и дѣло, къ удивленію домочадцевъ, прыскали въ салфетки. Послѣ обѣда, все еще находясь въ отмѣнномъ настроеніи, они нарядились турками и, гоняясь съ ружьями другъ за другомъ, представляли дѣтямъ войну. Вечеромъ они долго спорили. Поручикъ доказывалъ, что низко и подло брать за женой приданое, даже въ случаѣ страстной любви съ обѣихъ сторонъ; Крюковъ же стучалъ кулаками по столу и говорилъ, что это абсурдъ, что мужъ, не желающій, чтобы жена имѣла собственность, эгоистъ и деспотъ. Оба кричали, кипятились, не понимали другъ друга, порядкомъ выпили и въ концѣ концовъ, подобравъ полы своихъ халатовъ, разошлись по спальнямъ. Уснули они скоро и спали крѣпко.

Жизнь потекла попрежнему — ровная, лѣнивая и безпечальная. Тѣни ложились на землю, въ облакахъ гремѣлъ громъ, изрѣдка жалобно стоналъ вѣтеръ, какъ бы желая показать, что и природа можетъ плакать, но ничто не тревожило привычнаго

покоя этихъ людей. О Сусаннѣ Моисеевнѣ и о векселяхъ они не говорили. Обоимъ было какъ-то совѣстно говорить вслухъ объ этой исторіи. Зато вспоминали они и думали о ней съ удовольствіемъ, какъ о курьезномъ фарсѣ, который неожиданно и случайно разыграла съ ними жизнь и о которомъ пріятно будетъ вспомнить подъ старость . . .

На шестой или седьмой день послѣ свиданія съ еврейкой, утромъ Крюковъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и писалъ поздравительное письмо къ теткѣ. Около стола молча прохаживался Александръ Григорьевичъ. Поручикъ плохо спалъ ночь, проснулся не въ духѣ и теперь скучалъ. Онъ ходилъ и думалъ о срокѣ своего отпуска, объ ожидавшей его невѣстѣ, о томъ, какъ это не скучно людямъ весь вѣкъ жить въ деревнѣ. Остановившись у окна, онъ долго глядѣлъ на деревья, выкурилъ подъ рядъ три папиросы и вдругъ повернулся къ брату.

— У меня, Алеша, къ тебѣ просьба, — сказалъ онъ. — Одолжи мнѣ на сегодня верховую лошадь . . .

Крюковъ пытливо поглядѣлъ на него и, нахмурившись, продолжалъ писать.

— Такъ дашь? — спросилъ поручикъ.

Крюковъ опять поглядѣлъ на него, потомъ медленно выдвинулъ изъ стола ящикъ и, доставъ оттуда толстую пачку, подалъ ее брату.

— Вотъ тебѣ пять тысячъ . . . — сказалъ онъ. — Хоть и не мои онѣ, но Богъ съ тобой, все равно. Совѣтую тебѣ, посылай сейчасъ за почтовыми и уѣзжай. Право!

Поручикъ въ свою очередь пытливо поглядѣлъ на Крюкова и вдругъ засмѣялся.

— А вѣдь ты угадалъ, Алеша, — сказалъ онъ, краснѣя. — Я вѣдь именно къ ней хотѣлъ ѣхать. Какъ подала мнѣ вчера вечеромъ прачка этотъ проклятый китель, въ которомъ я былъ тогда, и какъ запахло жасминомъ, то... такъ меня и потянуло!

— Уѣхать надо.

— Да, дѣйствительно. Кстати ужъ и отпускъ кончился. Правда, поѣду сегодня! Ей-Богу! Сколько ни живи, а все уѣхать придется... Ѣду!

Въ тотъ же день передъ обѣдомъ были поданы почтовыя; поручикъ простился съ Крюковымъ и, сопровождаемый благими пожеланіями, уѣхалъ.

Прошла еще недѣля. Былъ пасмурный, но жаркій и душный день. Съ самаго ранняго утра Крюковъ безцѣльно бродилъ по комнатамъ, засматривалъ въ окна, или же перелистывалъ давно уже надоѣвшіе альбомы. Когда ему попадались на глаза жена или дѣти, онъ начиналъ сердито ворчать. Въ этотъ день ему почему-то казалось, что дѣти ведутъ себя отвратительно, жена плохо глядитъ за прислугой, что расходы ведутся несообразно съ доходами. Все это значило, что «господа» не въ духѣ.

Послѣ обѣда Крюковъ, недовольный супомъ и жаркимъ, велѣлъ заложить бѣговыя дрожки. Медленно выѣхалъ онъ со двора, проѣхалъ шагомъ четверть версты и остановился.

«Нешто къ той... къ тому чорту съѣздить?» — подумалъ онъ, глядя на пасмурное небо.

И Крюковъ даже засмѣялся, точно впервые за весь день задалъ себѣ этотъ вопросъ. Тотчасъ же отъ сердца его отлегла скука и въ лѣнивыхъ глазахъ заблестѣло удовольствіе. Онъ ударилъ по лошади...

Всю дорогу воображеніе его рисовало, какъ еврейка удивится его пріѣзду, какъ онъ посмѣется, поболтаетъ и вернется домой освѣженный...

«Разъ въ мѣсяцъ надо освѣжать себя чѣмъ-нибудь... необыденнымъ, — думалъ онъ: — чѣмъ-нибудь такимъ, что производило бы въ застоявшемся организмѣ хорошую встрепку... реакцію... Будь то хоть выпивка, хоть... Сусанна. Нельзя безъ этого».

Уже темнѣло, когда онъ въѣхалъ во дворъ водочнаго завода. Изъ открытыхъ оконъ хозяйскаго дома слышались смѣхъ и пѣніе:

Ярррче молніи, жарррче пламени...

пѣлъ чей-то сильный, густой басъ.

«Эге, у нея гости!» — подумалъ Крюковъ.

И ему стало непріятно, что у нея гости. «Не вернуться ли?» — думалъ онъ, берясь за звонокъ, но все-таки позвонилъ и пошелъ вверхъ по знакомой лѣстницѣ. Изъ передней онъ заглянулъ въ залу. Тамъ было человѣкъ пять мужчинъ — все знакомые помѣщики и чиновники. Одинъ, высокій и тощій, сидѣлъ за роялью, стучалъ длинными пальцами по клавишамъ и пѣлъ. Остальные слушали и скалили отъ удовольствія зубы. Крюковъ оглядѣлся передъ зеркаломъ и хотѣлъ уже войти въ залу, какъ въ переднюю впорхнула сама Сусанна Моисеевна, веселая, въ томъ же черномъ платьѣ...

Увидѣвъ Крюкова, она на мгновеніе окаменѣла, потомъ вскрикнула и просіяла отъ радости.

— Это вы? — сказала она, хватая его за руку. — Какой сюрпризъ!

— А, вотъ она! — улыбнулся Крюковъ, беря ее за талію. — Такъ какъ? Судьба Европы находится въ рукахъ русскихъ и французовъ?

— Я такъ рада! — засмѣялась еврейка, осторожно отводя его руку. — Ну, идите въ залу. Тамъ все знакомые... Я пойду скажу, чтобы вамъ чаю подали. Васъ Алексѣемъ зовутъ? Ну, ступайте, я сейчасъ...

Она сдѣлала ручкой и выбѣжала изъ передней, оставивъ послѣ себя запахъ того же приторнаго, сладковатаго жасмина. Крюковъ поднялъ голову и вошелъ въ залу. Онъ былъ пріятельски знакомъ со всѣми, кто былъ въ залѣ, но едва кивнулъ имъ головой; тѣ ему тоже едва отвѣтили, точно мѣсто, гдѣ они встрѣтились, было непристойно, или они мысленно сговорились, что для нихъ удобнѣе не узнавать другъ друга.

Изъ залы Крюковъ прошелъ въ гостиную, отсюда въ другую гостиную. На пути попалось ему три-четыре гостя, тоже знакомыхъ, но едва узнавшихъ его. Лица ихъ были пьяны и веселы. Алексѣй Ивановичъ косился на нихъ и недоумѣвалъ, какъ это они, люди семейные, почтенные, испытанные горемъ и нуждою, могутъ унижать себя до такой жалкой, грошевой веселости! Онъ пожималъ плечами, улыбался и шелъ дальше.

«Есть мѣста, — думалъ онъ: — гдѣ трезваго тошнитъ, а у пьянаго духъ радуется. Помню, въ

оперетку и къ цыганамъ я ни разу трезвымъ не ѣздилъ. Вино дѣлаетъ человѣка добрѣе и миритъ его съ порокомъ . . .»

Вдругъ онъ остановился, какъ вкопанный, и обѣими руками ухватился за косякъ двери. Въ кабинетѣ Сусанны, за письменнымъ столомъ, сидѣлъ поручикъ Александръ Григорьевичъ. Онъ о чемъ-то тихо разговаривалъ съ толстымъ, обрюзглымъ евреемъ, а увидѣвъ брата, вспыхнулъ и опустилъ глаза въ альбомъ.

Чувство порядочности встрепенулось въ Крюковѣ, и кровь ударила ему въ голову. Не помня себя отъ удивленія, стыда и гнѣва, онъ молча прошелся около стола. Сокольскій еще ниже опустилъ голову. Лицо его перекосило выраженіемъ мучительнаго стыда.

— Ахъ, это ты, Алеша! — проговорилъ онъ, силясь поднять глаза и улыбнуться. — Я заѣхалъ сюда проститься и, какъ видишь . . . Но завтра я обязательно уѣзжаю!

«Ну, что я могу сказать ему? Что? — думалъ Алексѣй Ивановичъ. — Какой я для него судья, если я и самъ здѣсь?»

И ни слова не сказавъ, а только покрякавъ, онъ медленно вышелъ.

Не называй ее небесной и у земли не отнимай . . .

пѣлъ въ залѣ басъ. Немного погодя, бѣговыя дрожки Крюкова уже стучали по пыльной дорогѣ.

ТАЙНЫЙ СОВѢТНИКЪ

Въ началѣ апрѣля 1870 года моя матушка Клавдія Архиповна, вдова поручика, получила изъ Петербурга, отъ своего брата Ивана, тайнаго совѣтника, письмо, въ которомъ между прочимъ, было написано: «Болѣзнь печени вынуждаетъ меня каждое лѣто жить за границей, а такъ какъ въ настоящее время у меня нѣтъ свободныхъ денегъ для поѣздки въ Маріенбадъ, то весьма возможно, что этимъ лѣтомъ я буду жить у тебя въ твоей Кочуевкѣ, дорогая сестра . . .»

Прочитавъ письмо, моя матушка поблѣднѣла и затряслась всѣмъ тѣломъ, потомъ на лицѣ ея появилось выраженіе смѣха и плача. Она заплакала и засмѣялась. Эта борьба плача со смѣхомъ всегда напоминаетъ мнѣ мельканье и трескъ яркогорящей свѣчи, когда на нее брызжутъ водой. Прочитавъ письмо еще разъ, матушка созвала всѣхъ домочадцевъ и прерывающимся отъ волненія голосомъ стала объяснять намъ, что всѣхъ братьевъ Гундасовыхъ было четверо: одинъ Гундасовъ померъ еще младенцемъ, другой пошелъ по военной и тоже померъ, третій, не въ обиду будь ему сказано, актеръ, четвертый же . . .

— До четвертаго рукой не достанешь, — всхлипывала матушка. — Родной мнѣ братъ, вмѣстѣ росли, а я вся дрожу и дрожу . . . Вѣдь тайный совѣтникъ, генералъ! Какъ я его, ангела моего, встрѣчу? О чемъ я, дура необразованная, разговаривать съ нимъ стану? Пятнадцать лѣтъ его не видала! Андрюшенька, — обратилась ко мнѣ матушка: — радуйся, дурачокъ! Это на твое счастье Богъ его посылаетъ!

Послѣ того, какъ мы узнали самую подробную исторію Гундасовыхъ, въ усадьбѣ поднялась суматоха, какую я привыкъ видѣть только передъ святками. Были пощажены только небесный сводъ и вода въ рѣкѣ, все же остальное подверглось чисткѣ, мытью и окраскѣ. Если бы небо было ниже и меньше, а рѣка не бѣжала такъ быстро, то и ихъ бы поскребли кирпичомъ и потерли мочалкой. Стѣны были бѣлы, какъ снѣгъ, но ихъ побѣлили; полы сіяли и лоснились, но ихъ мыли каждый день. Кота Куцаго (въ бытность мою младенцемъ я ножомъ, которымъ колютъ сахаръ, отхватилъ ему добрую четверть хвоста, отчего онъ и получилъ прозвище Куцаго) отнесли изъ хоромъ въ кухню и отдали подъ начало Анисьи; Ѳедькѣ сказано было, что если собаки будутъ подходить близко къ крыльцу, то его «Богъ накажетъ». Но никому такъ не доставалось, какъ бѣднымъ диванамъ, кресламъ и коврамъ! Никогда въ другое время ихъ не били такъ сильно палками, какъ теперь, въ ожиданіи гостя. Мои голуби, слыша палочные удары, тревожились и то и дѣло взлетали къ самому небу.

Приходилъ изъ Новостроевки портной Спиридонъ, единственный во всемъ уѣздѣ портной, дерзавшій шить на господъ. Это былъ человѣкъ не пьющій, работящій и способный, не лишенный нѣкоторой фантазіи и чувства пластики, но тѣмъ не менѣе шившій отвратительно. Все дѣло портили сомнѣнія . . . Мысль, что онъ шьетъ недостаточно модно, заставляла его передѣлывать каждую вещь по пяти разъ, ходить пѣшкомъ въ городъ спеціально за тѣмъ только, чтобы изучать франтовъ, и въ концѣ концовъ одѣвать насъ въ костюмы, которые даже карикатуристъ назвалъ бы утрировкой и шаржемъ. Мы щеголяли въ невозможно узкихъ брюкахъ и въ такихъ короткихъ пиджакахъ, что въ присутствіи барышенъ намъ всегда становилось совѣстно.

Этотъ Спиридонъ долго снималъ съ меня мѣрку. Онъ вымѣрилъ всего меня вдоль и поперекъ, точно собирался обить меня обручами, что-то долго записывалъ на бумажкѣ толстымъ карандашомъ и всю свою мѣрку иззубрилъ треугольными значками. Покончивъ со мной, онъ принялся за моего учителя Егора Алексѣевича Побѣдимскаго. Мой незабвенный учитель находился тогда въ порѣ, когда люди слѣдятъ за ростомъ своихъ усовъ и относятся критически къ платью, а потому можете себѣ представить священный ужасъ, съ какимъ Спиридонъ приступилъ къ моему учителю! Егоръ Алексѣевичъ долженъ былъ откинуть назадъ голову и разставить ноги въ видѣ опрокинутой ижицы, то поднимать руки, то опускать. Спиридонъ

вымѣрялъ его нѣсколько разъ, для чего ходилъ вокругъ него, какъ влюбленный голубь около голубки, становился на одно колѣно, изгибался крючкомъ . . . Моя матушка, томная, замученная хлопотами и угорѣвшая отъ утюговъ, глядѣла на всю эту длинную процедуру и говорила:

— Смотри же, Спиридонъ, Богъ съ тебя взыщетъ, если сукно испортишь! И счастья тебѣ не будетъ, коли не потрафишь!

Отъ словъ матушки Спиридона бросало то въ жаръ, то въ потъ, потому что онъ былъ увѣренъ, что не потрафитъ. За шитье моего костюма онъ взялъ 1 руб. 20 коп., а за костюмъ Побѣдимскаго 2 руб., причемъ сукно, подкладка и пуговицы были наши. Это не можетъ показаться дорого, тѣмъ болѣе, что отъ Новостроевки до насъ было девять верстъ, а портной приходилъ для примѣрки раза четыре. Когда мы, примѣряя, натягивали на себя узкія брюки и пиджаки, испещренные живыми нитками, матушка всякій разъ брезгливо морщилась и удивлялась:

— Богъ знаетъ, какая нынче мода пошла! Даже глядѣть совѣстно. Не будь братецъ столичнымъ, право, не стала бы я шить вамъ по-модному!

Спиридонъ, радуясь, что бранятъ не его, а моду, пожималъ плечами и вздыхалъ, какъ бы желая сказать: «Ничего не подѣлаешь: духъ времени!»

Волненіе, съ которымъ мы ожидали пріѣзда гостя, можно сравнить только съ тѣмъ напряженіемъ, съ какимъ спириты съ минуты на минуту ожидаютъ появленія духа. Матушка носилась съ мигренью

и ежеминутно плакала. Я потерялъ аппетитъ, плохо спалъ и не училъ уроковъ. Даже во снѣ меня не оставляло желаніе поскорѣе увидѣть генерала, то-есть человѣка съ эполетами, съ шитымъ воротникомъ, который претъ подъ самыя уши, и съ обнаженной саблей въ рукѣ — точь въ точь такого, какой висѣлъ у насъ въ залѣ надъ диваномъ и таращилъ страшные, черные глаза на всякаго, кто осмѣливался глядѣть на него. Одинъ только Побѣдимскій чувствовалъ себя въ своей тарелкѣ. Онъ не ужасался, не радовался, а только изрѣдка, выслушивая отъ матушки исторію рода Гундасовыхъ, говорилъ:

— Да, пріятно будетъ поговорить со свѣжимъ человѣкомъ.

На моего учителя у насъ въ усадьбѣ глядѣли, какъ на натуру исключительную. Это былъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати, угреватый, лохматый, съ маленькимъ лбомъ и съ необычайно длиннымъ носомъ. Носъ былъ такъ великъ, что мой учитель, разглядывая что-нибудь, долженъ былъ наклонять голову на бокъ по-птичьи. По нашимъ понятіямъ, во всей губерніи не было человѣка умнѣе, образованнѣе и галантнѣе. Кончилъ онъ шесть классовъ гимназіи, потомъ поступилъ въ ветеринарный институтъ, откуда былъ исключенъ, не проучившись и полугода. Причину исключенія онъ тщательно скрывалъ, что давало возможность всякому желающему видѣть въ моемъ воспитателѣ человѣка пострадавшаго и до нѣкоторой степени таинственнаго. Говорилъ онъ мало и только объ умномъ,

ѣлъ въ постъ скоромное и на окружающую жизнь иначе не глядѣлъ, какъ только свысока и презрительно, что, впрочемъ, не мѣшало ему принимать отъ моей матушки подарки, въ видѣ костюмовъ, и рисовать на моихъ змѣяхъ глупыя рожи съ красными зубами. Матушка не любила его за «гордость», но преклонялась предъ его умомъ.

Гостя недолго ждали. Въ началѣ мая на двухъ возахъ прибыли со станціи большіе чемоданы. Эти чемоданы глядѣли такъ величественно, что, снимая ихъ съ возовъ, кучера машинально поснимали шапки.

«Должно-быть, — подумалъ я: — въ этихъ сундукахъ мундиры и порохъ . . .»

Почему порохъ? Вѣроятно, понятіе о генеральствѣ въ моей головѣ было тѣсно связано съ пушками и порохомъ.

Утромъ, десятаго мая, когда я проснулся, нянька шопотомъ объявила мнѣ, что «пріѣхали дяденька». Я быстро одѣлся и, кое-какъ умывшись, не молясь Богу, полетѣлъ изъ спальной. Въ сѣняхъ я наткнулся на высокаго, плотнаго господина, съ фешенебельными бакенами и въ франтовскомъ пальто. Помертвѣвъ отъ священнаго ужаса, я подошелъ къ нему и, припоминая составленный матушкою церемоніалъ, шаркнулъ передъ нимъ ножкой, низко поклонился и потянулся къ ручкѣ, но господинъ не далъ мнѣ поцѣловать руку и объявилъ, что онъ не дядя, а только дядинъ камердинеръ Петръ. Видъ этого Петра, одѣтаго гораздо богаче, чѣмъ я и Побѣдимскій, повергъ

меня въ крайнее изумленіе, не оставляющее меня, говоря по правдѣ, и до сегодня: неужели такіе солидные, почтенные люди, съ умными и строгими лицами, могутъ быть лакеями? И ради чего?

Петръ сказалъ мнѣ, что дядя съ матушкой въ саду. Я бросился въ садъ.

Природа, не знавшая исторіи рода Гундасовыхъ и чина моего дядюшки, чувствовала себя гораздо свободнѣе и развязнѣе, чѣмъ я. Въ саду происходила возня, какая бываетъ только на ярмаркахъ. Безчисленные скворцы, разсѣкая воздухъ и прыгая по аллеямъ, съ крикомъ и шумомъ гонялись за майскими жуками. Въ сиреневыхъ кустахъ, которые своими нѣжными пахучими цвѣтами лѣзли прямо въ лицо, копошились воробьи. Куда ни повернешься, отовсюду неслись пѣніе иволги, писканье удода и кобчика. Въ другое время я началъ бы гоняться за стрекозами или бросать камнями въ ворона, который сидѣлъ на невысокой копнѣ подъ осиной и поворачивалъ въ стороны свой тупой носъ, теперь же было не до шалостей. У меня билось сердце и холодѣло въ животѣ: я готовился увидѣть человѣка съ эполетами, обнаженной саблей и со страшными глазами!

Но представьте мое разочарованіе! Рядомъ съ матушкой гулялъ по саду тоненькій, маленькій франтъ въ бѣлой, шелковой парѣ и въ бѣлой фуражкѣ. Заложивъ руки въ карманы, откинувъ назадъ голову, то и дѣло забѣгая впередъ матушки, онъ казался совсѣмъ молодымъ человѣкомъ. Во всей фигурѣ его было столько движенія и жизни,

что предательскую старость я могъ увидѣть только подойдя поближе сзади и взглянувъ на края фуражки, гдѣ серебрились коротко остриженные волосы. Вмѣсто солидности и генеральской тугоподвижности, я увидѣлъ почти мальчишескую вертлявость; вмѣсто воротника, прущаго подъ уши — обыкновенный, голубой галстукъ. Матушка и дядя гуляли по аллеѣ и бесѣдовали. Я тихо подошелъ къ нимъ сзади и сталъ ждать, когда кто-нибудь изъ нихъ оглянется.

— Какой у тебя здѣсь восторгъ, Кладя! — говорилъ дядя. — Какъ мило и хорошо! Знай я раньше, что у тебя здѣсь такая прелесть, ни за что бы въ тѣ годы не ѣздилъ за границу.

Дядя быстро нагнулся и понюхалъ тюльпанъ. Что только ни попадалось ему на глаза, все возбуждало въ немъ восторгъ и любопытство, словно отродясь онъ не видѣлъ сада и солнечнаго дня. Странный человѣкъ двигался какъ на пружинахъ и болталъ безъ умолку, не давая матушкѣ сказать ни одного слова. Вдругъ на поворотѣ аллеи изъ-за бузины показался Побѣдимскій. Появленіе его было такъ неожиданно, что дядя вздрогнулъ и отступилъ шагъ назадъ. Въ этотъ разъ мой учитель былъ въ своей парадной крылаткѣ съ рукавами, въ которой онъ, въ особенности сзади, очень походилъ на вѣтряную мельницу. Видъ у него былъ величественный и торжественный. Прижавъ по-испански шляпу къ груди, онъ сдѣлалъ шагъ къ дядѣ и поклонился, какъ кланяются маркизы въ мелодрамахъ: впередъ и нѣсколько на бокъ.

— Честь имѣю представиться вашему высокопревосходительству, — сказалъ онъ громко: — педагогъ и преподаватель вашего племянника, бывшій слушатель ветеринарнаго института, дворянинъ Побѣдимскій!

Такая учтивость учителя очень понравилась моей матушкѣ. Она улыбнулась и замерла отъ сладкаго ожиданія, что онъ скажетъ еще что-нибудь умное, но мой учитель, ожидавшій, что на его величественное обращеніе ему и отвѣтятъ величественно, т. е. скажутъ по-генеральски «гм» и протянутъ два пальца, сильно сконфузился и оробѣлъ, когда дядя привѣтливо засмѣялся и крѣпко пожалъ ему руку. Онъ пробормоталъ еще что-то несвязное, закашлялся и отошелъ въ сторону.

— Ну, не прелесть ли? — засмѣялся дядя. — Ты погляди: надѣлъ размахайку и думаетъ, что онъ очень умный человѣкъ! Нравится мнѣ это, клянусь Богомъ!.. Сколько вѣдь въ ней, въ этой глупой размахайкѣ, юнаго апломба, жизни! А это что за мальчикъ? — спросилъ онъ, вдругъ обернувшись и увидѣвъ меня.

— Это мой Андрюшенька, — отрекомендовала меня матушка, зардѣвшись. — Утѣшеніе мое...

Я шаркнулъ по песку ножкой и низко поклонился.

— Молодецъ мальчикъ... молодецъ мальчикъ... — забормоталъ дядя, отнимая отъ моихъ губъ руку и гладя меня по головѣ. — Тебя Андрюшей зовутъ? Такъ, такъ... Мда... клянусь Богомъ... Учишься?

Матушка, привирая и преувеличивая, какъ всѣ матери, начала описывать мои успѣхи по наукамъ и благонравіе, а я шелъ около дяди и, согласно церемоніалу, не переставалъ отвѣшивать низкіе поклоны. Когда моя матушка начала уже забрасывать удочку на тотъ счетъ, что съ моими замѣчательными способностями мнѣ не мѣшало бы поступить въ кадетскій корпусъ на казенный счетъ, и когда я, согласно церемоніалу, долженъ былъ заплакать и попросить у дядюшки протекціи, дядя вдругъ остановился и въ изумленіи разставилъ руки.

— Б-батюшки! Это же что? — спросилъ онъ.

Прямо на насъ по аллеѣ шла Татьяна Ивановна, жена Ѳедора Петровича, нашего управляющаго. Она несла бѣлую накрахмаленную юбку и длинную гладильную доску. Проходя мимо насъ, она робко, сквозь рѣсницы взглянула на гостя и зардѣлась.

— Часъ отъ часу не легче . . . — процѣдилъ дядя сквозь зубы, ласково глядя ей вслѣдъ. — У тебя, сестра, что ни шагъ, то сюрпризъ . . . клянусь Богомъ.

— Она у насъ красавица . . . — сказала матушка. — Ѳедору ее изъ посада высватали . . . за сто верстъ отсюда . . .

Татьяну Ивановну не всякій назвалъ бы красавицей. Это была маленькая, полненькая женщина, лѣтъ двадцати, стройная, чернобровая, всегда розовая и миловидная, но на лицѣ и во всей фигурѣ ея не было ни одной крупной черты, ни одного смѣлаго штриха, на которомъ могъ бы остановиться глазъ, точно у природы, когда она творила ее, не

хватало вдохновенія и увѣренности. Татьяна Ивановна была робка, конфузлива и благонравна, ходила тихо и плавно, мало говорила, рѣдко смѣялась, и вся жизнь ея была такъ же ровна и плоска, какъ лицо и гладко прилизанные волосы. Дядя щурилъ ей вслѣдъ глаза и улыбался. Матушка пристально посмотрѣла на его улыбающееся лицо и сдѣлалась серьезной.

— А вы, братецъ, такъ-таки и не женились! — Вздохнула она.

— Не женился . . .

— Почему? — тихо спросила матушка.

— Какъ тебѣ сказать, жизнь такъ сложилась. Смолоду слишкомъ заработался, не до жизни было, а когда жить захотѣлось — оглянулся, но за моей спиной ужъ 50 лѣтъ стояло. Не успѣлъ! Впрочемъ, говорить объ этомъ . . . скучно.

Матушка и дядя, оба разомъ, вздохнули и пошли дальше, а я отсталъ отъ нихъ и побѣжалъ искать учителя, чтобы подѣлиться съ нимъ своими впечатлѣніями. Побѣдимскій стоялъ посреди двора и величественно глядѣлъ на небо.

— Замѣтно, что развитой человѣкъ! — сказалъ онъ, покрутивъ головой. — Надѣюсь, что мы съ нимъ сойдемся.

Черезъ часъ подошла къ намъ матушка.

— А у меня, голубчики, горе! — начала она, задыхаясь. — Вѣдь братецъ съ лакеемъ пріѣхалъ, а лакей такой, Богъ съ нимъ, что ни въ кухню его не сунешь, ни въ сѣни, а непремѣнно особую комнату ему подавай. Ума не приложу, что мнѣ

дѣлать! Вотъ что развѣ, дѣточки, не перебраться ли вамъ покуда во флигель къ Ѳедору? А вашу комнату лакею бы отдали, а?

Мы отвѣтили полнымъ согласіемъ, потому что жить во флигелѣ гораздо свободнѣе, чѣмъ въ домѣ, на глазахъ у матушки.

— Горе, да и только! — продолжала матушка. — Братецъ сказалъ, что онъ будетъ обѣдать не въ полдень, а въ седьмомъ часу, по-столичному. Просто у меня съ горя умъ за разумъ зашелъ! Вѣдь къ 7 часамъ весь обѣдъ перепарится въ печкѣ. Право, мужчины совсѣмъ ничего не понимаютъ въ хозяйствѣ, хотя они и большого ума. Придется, горе мое, два обѣда стряпать! Вы, дѣточки, обѣдайте попрежнему въ полдень, а я, старуха, потерплю для родного брата, до семи часовъ.

Затѣмъ матушка глубоко вздохнула, приказала мнѣ понравиться дядюшкѣ, котораго Богъ прислалъ на мое счастье, и побѣжала въ кухню. Въ тотъ же день я и Побѣдимскій переселились во флигель. Насъ помѣстили въ проходной комнатѣ, между сѣнями и спальней управляющаго.

Несмотря на пріѣздъ дяди и новоселье, жизнь, сверхъ ожиданія, потекла прежнимъ порядкомъ, вялая и однообразная. Отъ занятій, «по случаю гостя», мы были освобождены. Побѣдимскій, который никогда ничего не читалъ и ничѣмъ не занимался, сидѣлъ обыкновенно у себя на кровати, водилъ по воздуху своимъ длиннымъ носомъ и о чемъ-то думалъ. Изрѣдка онъ поднимался, примѣривалъ свой новый костюмъ и опять садился,

чтобы молчать и думать. Одно только озабочивало его — это мухи, по которымъ онъ нещадно хлопалъ ладонями. Послѣ обѣда онъ обыкновенно «отдыхалъ», причемъ храпомъ наводилъ тоску на всю усадьбу. Я отъ утра до вечера бѣгалъ по саду или сидѣлъ у себя во флигелѣ и клеилъ змѣевъ. Дядю въ первыя двѣ-три недѣли мы видѣли рѣдко. По цѣлымъ днямъ онъ сидѣлъ у себя въ комнатѣ и работалъ, несмотря ни на мухъ, ни на жару. Его необыкновенная способность сидѣть и приростать къ столу производила на насъ впечатлѣніе необъяснимаго фокуса. Для насъ, лѣнтяевъ, не знавшихъ систематическаго труда, его трудолюбіе было просто чудомъ. Проснувшись часовъ въ 9, онъ садился за столъ и не вставалъ до самаго обѣда; пообѣдавъ, опять принимался за работу и такъ до поздней ночи. Когда я заглядывалъ къ нему въ замочную скважину, то всегда видѣлъ неизмѣнно одно и то же: дядя сидѣлъ за столомъ и работалъ. Работа заключалась въ томъ, что онъ одной рукой писалъ, другой перелистывалъ книгу и, какъ это ни странно, весь двигался: качалъ ногой, какъ маятникомъ, насвистывалъ и кивалъ въ тактъ головой. Видъ у него при этомъ былъ крайне разсѣянный и легкомысленный, точно онъ не работалъ, а игралъ въ нули и крестики. Каждый разъ я видѣлъ на немъ короткій, щегольской пиджакъ и ухарски завязанный галстукъ, и каждый разъ, даже сквозь замочную скважину, отъ него пахло тонкими женскими духами. Выходилъ онъ изъ своей комнаты только обѣдать, но обѣдалъ плохо.

— Не пойму я братца! — жаловалась на него матушка. — Каждый день нарочно для него рѣжемъ индѣйку и голубей, сама своими руками дѣлаю компотъ, а онъ скушаетъ тарелочку бульону да кусочекъ мясца съ пальцъ и идетъ изъ-за стола. Стану умолять его, чтобъ ѣлъ, онъ воротится къ столу и выпьетъ молочка. А что въ немъ, въ молокѣ-то? Тѣ же помои! Умрешь отъ такой ѣды... Начнешь его уговаривать, а онъ только смѣется, да шутитъ... Нѣтъ, не нравятся ему, голубчику, наши кушанья!

Вечера проходили у насъ гораздо веселѣе, чѣмъ дни. Обыкновенно, когда садилось солнце и по двору ложились длинныя тѣни, мы, то-есть Татьяна Ивановна, Побѣдимскій и я, уже сидѣли на крылечкѣ флигеля. До самыхъ потемокъ мы молчали. Да и о чемъ прикажете говорить, когда уже все переговорено? Была одна новость — пріѣздъ дяди, но и эта тема скоро истрепалась. Учитель все время не отрывалъ глазъ отъ лица Татьяны Ивановны и глубоко вздыхалъ... Тогда я не понималъ этихъ вздоховъ и не доискивался ихъ смысла, теперь же они объясняютъ мнѣ очень многое.

Когда тѣни на землѣ сливались въ одну сплошную тѣнь, съ охоты или съ поля возвращался управляющій Ѳедоръ. Этотъ Ѳедоръ производилъ на меня впечатлѣніе человѣка дикаго и даже страшнаго. Сынъ обрусѣвшаго изюмскаго цыгана, черномазый, съ большими черными глазами, кудрявый, со всклоченной бородой, онъ иначе и не назывался у нашихъ кучуевскихъ мужиковъ, какъ «чертякой».

Да и кромѣ наружности, въ немъ было много цыганскаго. Такъ, онъ не могъ сидѣть дома и по цѣлымъ днямъ пропадалъ въ полѣ или на охотѣ. Онъ былъ мраченъ, желченъ, молчаливъ и никого не боялся и не признавалъ надъ собой ничьей власти. Матушкѣ онъ грубилъ, мнѣ говорилъ «ты», а къ учености Побѣдимскаго относился презрительно. Все это мы прощали ему, считая его человѣкомъ вспыльчивымъ и болѣзненнымъ. Матушка же любила его, потому что онъ, несмотря на свою цыганскую натуру, былъ идеально честенъ и трудолюбивъ. Свою Татьяну Ивановну онъ любилъ страстно, какъ цыганъ, но любовь эта выходила у него какой-то мрачной, словно выстраданной. При насъ онъ никогда не ласкалъ своей жены, а только злобно таращилъ на нее глаза и кривилъ ротъ.

Возвратившись съ поля, онъ со стукомъ и со злобой ставилъ во флигелѣ ружье, выходилъ къ намъ на крылечко и садился рядомъ съ женой. Отдышавшись, онъ задавалъ женѣ нѣсколько вопросовъ по части хозяйства и погружался въ молчаніе.

— Давайте пѣть, — предлагалъ я.

Учитель настраивалъ гитару и густымъ, дьячковскимъ басомъ затягивалъ «Среди долины ровныя». Начиналось пѣніе. Учитель пѣлъ басомъ, Ѳедоръ едва слышнымъ теноркомъ, а я дискантомъ въ одинъ голосъ съ Татьяной Ивановной.

Когда все небо покрывалось звѣздами и умолкали лягушки, изъ кухни приносили намъ ужинъ. Мы

шли во флигель и принимались за ѣду. Учитель и цыганъ ѣли съ жадностью, съ трескомъ, такъ что трудно было понять, хрустѣли то кости, или ихъ скулы, и мы съ Татьяной Ивановной едва успѣвали съѣсть свои доли. Послѣ ужина флигель погружался въ глубокій сонъ.

Однажды, было это въ концѣ мая, мы сидѣли на крыльцѣ и ожидали ужина. Вдругъ мелькнула тѣнь и передъ нами, словно изъ земли выросши, предсталъ Гундасовъ. Онъ долго глядѣлъ на насъ, потомъ всплеснулъ руками и весело засмѣялся.

— Идиллія! — сказалъ онъ. — Поютъ и мечтаютъ на луну! Прелестно, клянусь Богомъ! Можно мнѣ сѣсть съ вами и помечтать?

Мы молчали и переглядывались. Дядя сѣлъ на нижнюю ступеньку, зѣвнулъ и поглядѣлъ на небо. Наступило молчаніе. Побѣдимскій, который давно уже собирался потолковать со свѣжимъ человѣкомъ обрадовался случаю и первый нарушилъ молчаніе. Для умныхъ разговоровъ у него была одна только тема — эпизоотіи. Случается, что когда вы попадете въ тысячную толпу, вамъ почему-то изъ тысячи физіономій врѣзывается надолго въ память только одна какая-нибудь, такъ и Побѣдимскій изъ всего того, что онъ успѣлъ услышать въ ветеринарномъ институтѣ за полгода, помнилъ только одно мѣсто:

«Эпизоотіи приносятъ громадный ущербъ народному хозяйству. Въ борьбѣ съ ними общество должно идти рука объ руку съ правительствомъ».

Прежде чѣмъ сказать это Гундасову, мой учитель раза три крякнулъ и нѣсколько разъ въ волненіи запахивался въ крылатку. Услышавъ про эпизотіи, дядя пристально поглядѣлъ на учителя и издалъ носомъ смѣющійся звукъ.

— Ей-Богу, это мило . . . — пробормоталъ онъ, разглядывая насъ, какъ манекеновъ. — Это именно и есть жизнь . . . Такою въ сущности и должна быть дѣйствительность. А вы что же молчите, Пелагея Ивановна? — обратился онъ къ Татьянѣ Ивановнѣ.

Та сконфузилась и кашлянула.

— Говорите, господа, пойте . . . играйте! Не теряйте времени. Вѣдь канальское время бѣжитъ, не ждетъ! Клянусь Богомъ, не успѣете оглянуться, какъ наступитъ старость . . . Тогда ужъ поздно будетъ жить! Такъ-то, Пелагея Ивановна . . . Не нужно сидѣть неподвижно и молчать . . .

Тутъ изъ кухни принесли ужинъ. Дядя пошелъ за нами во флигель и за компанію съѣлъ пять творожниковъ и утиное крылышко. Онъ ѣлъ и глядѣлъ на насъ. Всѣ мы возбуждали въ немъ восторгъ и умиленіе. Какую бы глупость ни сморозилъ мой незабвенный учитель и что бы ни сдѣлала Татьяна Ивановна, все находилъ онъ милымъ и восхитительнымъ. Когда послѣ ужина Татьяна Ивановна смиренно сѣла въ уголокъ и принялась за вязанье, онъ не отрывалъ глазъ отъ ея пальчиковъ и болталъ безъ умолку.

— Вы, друзья, какъ можно скорѣе спѣшите жить . . . — говорилъ онъ. — Храни васъ Богъ

жертвовать настоящимъ для будущаго! Въ настоящемъ молодость, здоровье, пылъ, а будущее — это обманъ, дымъ! Какъ только стукнетъ двадцать лѣтъ, такъ и начинайте жить.

Татьяна Ивановна уронила иглу. Дядя вскочилъ, поднялъ иглу и съ поклономъ подалъ ее Татьянѣ Ивановнѣ, и тутъ я впервые узналъ, что на свѣтѣ есть люди потоньше Побѣдимскаго.

— Да . . . — продолжалъ дядя. — Любите, женитесь . . . дѣлайте глупости. Глупость гораздо жизненнѣе и здоровѣе, чѣмъ наши потуги и погоня за осмысленной жизнью.

Дядя говорилъ много и долго, до того долго, что надоѣлъ намъ, а я сидѣлъ въ сторонѣ на сундукѣ, слушалъ его и дремалъ. Мучило меня, что за все время онъ ни разу не обратилъ на меня вниманія. Ушелъ онъ изъ флигеля въ два часа ночи, когда я, не справившись съ дремотою, уже крѣпко спалъ.

Съ этого времени дядя сталъ ходить къ намъ во флигель каждый вечеръ. Онъ пѣлъ съ нами, ужиналъ и всякій разъ просиживалъ до двухъ часовъ, безъ умолку болталъ все объ одномъ и томъ же. Вечернія и ночныя работы были имъ оставлены, а къ концу іюня, когда тайный совѣтникъ научился ѣсть матушкины индѣйки и компоты, были брошены и дневныя занятія. Дядя оторвался отъ стола и втянулся въ «жизнь». Днемъ онъ шагалъ по саду, насвистывалъ и мѣшалъ рабочимъ, заставляя ихъ разсказывать ему разныя исторіи. Когда на глаза попадалась Татьяна Ивановна, онъ подбѣгалъ къ ней и, если она несла что-нибудь,

предлагалъ ей свою помощь, что страшно ее конфузило.

Чѣмъ дальше вглубь уходило лѣто, тѣмъ легкомысленнѣе, вертлявѣе и разсѣяннѣе становился мой дядюшка. Побѣдимскій въ немъ совсѣмъ разочаровался.

— Слишкомъ односторонній человѣкъ . . . — говорилъ онъ. — Ни капли незамѣтно, чтобъ онъ стоялъ на высшихъ ступеняхъ іерархіи. И говорить даже не умѣетъ. Послѣ каждаго слова: «клянусь Богомъ». Нѣтъ, не нравится мнѣ онъ!

Съ тѣхъ поръ, какъ дядя началъ посѣщать нашъ флигель, въ Ѳедорѣ и въ моемъ учителѣ произошла замѣтная перемѣна. Ѳедоръ пересталъ ходить на охоту, рано возвращался домой, сдѣлался еще молчаливѣе и какъ-то особенно злобно пялилъ глаза на жену. Учитель же пересталъ въ присутствіи дяди говорить объ эпизоотіяхъ, хмурился и даже насмѣшливо улыбался.

— Идетъ нашъ мышиный жеребчикъ! — проворчалъ онъ однажды, когда дядя подходилъ къ флигелю.

Такую перемѣну въ обоихъ я объяснялъ себѣ тѣмъ, что они обидѣлись на дядю. Разсѣянный дядя путалъ ихъ имена, до самаго отъѣзда не научился различать, кто изъ нихъ учитель, а кто мужъ Татьяны Ивановны, самое Татьяну Ивановну величалъ то Настасьей, то Пелагеей, то Евдокіей. Умиляясь и восторгаясь нами, онъ смѣялся и держалъ себя словно съ малыми ребятами . . . Все это, конечно, могло оскорблять молодыхъ людей. Но

дѣло было не въ обидѣ, а, какъ теперь я понимаю, въ болѣе тонкихъ чувствахъ.

Помню, въ одинъ изъ вечеровъ я сидѣлъ на сундукѣ и боролся съ дремотой. На глаза мои ложился вязкій клей, и тѣло, утомленное цѣлодневной бѣготней, клонило въ сторону. Но я боролся со сномъ и старался глядѣть. Было около полуночи. Татьяна Ивановна, розовая и смиренная какъ всегда, сидѣла у маленькаго столика и шила мужу рубаху. Изъ одного угла пялилъ на нее глаза Ѳедоръ, мрачный и угрюмый, а въ другомъ сидѣлъ Побѣдимскій, уходившій въ высокіе воротнички своей сорочки и сердито сопѣвшій. Дядя ходилъ изъ угла въ уголъ и о чемъ-то думалъ. Царило молчаніе, только слышно было, какъ въ рукахъ Татьяны Ивановны шуршало полотно. Вдругъ дядя остановился передъ Татьяной Ивановной и сказалъ:

— Такіе вы всѣ молодые, свѣжіе, хорошіе, такъ безмятежно живется вамъ въ этой тишинѣ, что я завидую вамъ. Я привязался къ этой вашей жизни, у меня сердце сжимается, когда вспоминаю, что нужно уѣхать отсюда... Вѣрьте моей искренности!

Дремота замкнула мои глаза, и я забылся. Когда какой-то стукъ разбудилъ меня, дядя стоялъ передъ Татьяной Ивановной и глядѣлъ на нее съ умиленіемъ. Щеки у него разгорѣлись.

— Моя жизнь пропала, — говорилъ онъ. — Я не жилъ! Ваше молодое лицо напоминаетъ мнѣ мою погибшую юность, и я бы согласился до самой

UNIVERSITY OF
ILLINOIS LIBRARY

смерти сидѣть здѣсь и глядѣть на васъ. Съ удовольствіемъ я взялъ бы васъ съ собой въ Петербургъ.

— Зачѣмъ это? — спросилъ хриплымъ голосомъ Ѳедоръ.

— Поставилъ бы у себя на рабочемъ столѣ подъ стекломъ, любовался бы и другимъ показывалъ. Вы знаете, Пелагея Ивановна, такихъ, какъ вы, тамъ у насъ нѣтъ. У насъ есть богатство, знатность, иногда красота, но нѣтъ этой жизненной правды . . . этого здороваго покоя . . .

Дядя сѣлъ передъ Татьяной Ивановной и взялъ ее за руку.

— Такъ не хотите со мной въ Петербургъ? — засмѣялся онъ. — Въ такомъ случаѣ дайте мнѣ туда хоть вашу ручку . . . Прелестная ручка! Не дадите? Ну, скупая, позвольте хоть поцѣловать ее . . .

Въ это время послышался трескъ стула. Ѳедоръ вскочилъ и мѣрными, тяжелыми шагами подошелъ къ женѣ. Лицо его было блѣдно-сѣро и дрожало. Онъ со всего размаха ударилъ кулакомъ по столику и сказалъ глухимъ голосомъ:

— Я не позволю!

Одновременно съ нимъ вскочилъ со стула и Побѣдимскій. Этотъ, тоже блѣдный и злой, подошелъ къ Татьянѣ Ивановнѣ и тоже ударилъ кулакомъ по столику . . .

— Я . . . я не позволю! — сказалъ онъ.

— Что? Что такое? — удивился дядя.

— Я не позволю! — повторилъ Ѳедоръ, стукнувъ по столу.

Дядя вскочилъ и трусливо замигалъ глазами. Онъ хотѣлъ говорить, но отъ изумленія и перепуга не сказалъ ни слова, конфузливо улыбнулся и старчески засѣменилъ изъ флигеля, оставивъ у насъ свою шляпу. Когда, немного погодя, во флигель прибѣжала встревоженная матушка, Ѳедоръ и Побѣдимскій все еще, словно кузнецы молотками, стучали кулаками по столу и говорили: «Я не позволю!»

— Что у васъ тутъ случилось? — спросила матушка. — Отчего съ братцемъ сдѣлалось дурно? Что такое?

Поглядѣвъ на блѣдную, испуганную Татьяну Ивановну и на ея разсвирѣпѣвшаго мужа, матушка, вѣроятно, догадалась, въ чемъ дѣло. Она вздохнула и покачала головой.

— Ну, будетъ, будетъ бухотѣть по столу! — сказала она. — Перестань, Ѳедоръ! А вы-то чего стучите, Егоръ Алексѣевичъ? Вы-то тутъ при чемъ?

Побѣдимскій спохватился и сконфузился. Ѳедоръ пристально поглядѣлъ на него, потомъ на жену и зашагалъ по комнатѣ. Когда матушка вышла изъ флигеля, я видѣлъ то, что долго потомъ считалъ за сонъ. Я видѣлъ, какъ Ѳедоръ схватилъ моего учителя, поднялъ его на воздухъ и вышвырнулъ въ дверь . . .

Когда я проснулся утромъ, постель учителя была пуста. На мой вопросъ, гдѣ учитель, нянька шопотомъ сказала мнѣ, что его рано утромъ отвезли въ больницу лѣчить сломанную руку. Опечаленный

этимъ извѣстіемъ и припоминая вчерашній скандалъ, я вышелъ на дворъ. Погода стояла пасмурная. Небо заволокло тучами и по землѣ гулялъ вѣтеръ, поднимая съ земли пыль, бумажки и перья... Чувствовалась близость дождя. На людяхъ и на животныхъ была написана скука. Когда я пошелъ въ домъ, меня попросили не стучать ногами, сказавъ, что матушка больна мигренью и лежитъ въ постели. Что дѣлать? Я пошелъ за ворота, сѣлъ тамъ на лавочку и сталъ искать смысла въ томъ, что я вчера видѣлъ и слышалъ. Отъ нашихъ воротъ шла дорога, которая, обойдя кузницу и никогда не высыхающую лужу, впадала въ большую, почтовую дорогу... Я глядѣлъ на телеграфные столбы, около которыхъ кружились облака пыли, на сонныхъ птицъ, сидѣвшихъ на проволокахъ, и мнѣ вдругъ стало такъ скучно, что я заплакалъ.

По почтовой дорогѣ проѣхала пыльная линейка, биткомъ набитая горожанами, ѣхавшими, вѣроятно, на богомолье. Не успѣла линейка исчезнуть изъ вида, какъ показалась легкая пролетка, запряженная въ пару. Въ ней, стоя и держась за поясъ кучера, ѣхалъ становой Акимъ Никитичъ. Къ великому моему удивленію, пролетка свернула на нашу дорогу и пролетѣла мимо меня въ ворота. Пока я недоумѣвалъ, зачѣмъ это прикатилъ къ намъ становой, послышался шумъ, и на дорогѣ показалась тройка. Въ коляскѣ стоялъ исправникъ и показывалъ кучеру на наши ворота.

«А этотъ зачѣмъ? — думалъ я, разглядывая покрытаго пылью исправника. — Это, вѣроятно,

Побѣдимскій имъ на Ѳедора пожаловался, и они пріѣхали взять его въ острогъ».

Но загадку не такъ легко было рѣшить. Становой и исправникъ были только предтечи, потому что не прошло и пяти минутъ, какъ къ намъ въ ворота въѣхала карета. Она такъ быстро мелькнула мимо меня, что, заглянувъ въ каретное окно, я увидѣлъ одну только рыжую бороду.

Теряясь въ догадкахъ и предчувствуя что-то недоброе, я побѣжалъ къ дому. Въ передней прежде всего я увидѣлъ матушку. Она была блѣдна и съ ужасомъ глядѣла на дверь, изъ-за которой слышались мужскіе голоса. Гости застали ее врасплохъ, въ самый разгаръ мигрени.

— Кто пріѣхалъ, мама? — спросилъ я.

— Сестра! — послышался голосъ дяди. — Дай-ка намъ съ губернаторомъ закусить чего-нибудь!

— Легко сказать: закусить! — прошептала матушка, млѣя отъ ужаса. — Что я теперь успѣю приготовить? Осрамилась на старости лѣтъ!

Матушка схватила себя за голову и побѣжала въ кухню. Внезапный пріѣздъ губернатора поднялъ на ноги и ошеломилъ всю усадьбу. Поднялась ожесточенная рѣзня. Зарѣзали штукъ десять куръ, пять индѣекъ, восемь утокъ и впопыхахъ обезглавили стараго гусака, родоначальника нашего гусинаго стада и любимца матери. Кучера и поваръ словно обезумѣли и рѣзали птицъ зря, не разбирая ни возраста, ни породы. Ради какого-то соуса у меня погибла пара дорогихъ турмановъ, которые

мнѣ были такъ же дороги, какъ матушкѣ гусакъ. Смерти ихъ я долго не прощалъ губернатору.

Вечеромъ, когда губернаторъ и его свита, сытно пообѣдавъ, сѣли въ свои экипажи и уѣхали, я пошелъ въ домъ поглядѣть на остатки пиршества. Заглянувъ изъ передней въ залу, я увидѣлъ и дядю, и матушку. Дядя, заложивъ руки назадъ, нервно шагалъ вдоль стѣнъ и пожималъ плечами. Матушка, изнеможенная и сильно похудѣвшая, сидѣла на диванѣ и больными глазами слѣдила за движеніями брата.

— Извини, сестра, но такъ нельзя . . . — брюзжалъ дядя, морща лицо. — Я представляю тебѣ губернатора, а ты ему руки не подаешь! Ты его сконфузила, несчастнаго! Нѣтъ, это не годится . . . Простота хорошая вещь, но вѣдь и она должна имѣть предѣлы... клянусь Богомъ... И потомъ этотъ обѣдъ! Развѣ можно такими обѣдами кормить? Напримѣръ, что это за мочалку подавали на четвертое блюдо?

— Это утка подъ сладкимъ соусомъ . . . — тихо отвѣтила матушка.

— Утка . . . Прости, сестра, но . . . но у меня вотъ изжога! Я боленъ!

Дядя сдѣлалъ кислое, плачущее лицо и продолжалъ:

— И чортъ принесъ этого губернатора! Очень мнѣ нуженъ его визитъ! Пф . . . изжога! Я не могу ни спать, ни работать... Совсѣмъ развинтился ... И какъ это, не понимаю, вы можете жить тутъ безъ работы . . . въ этой скучищѣ! Вотъ ужъ у меня и боль начинается подъ ложечкой! . .

Дядя нахмурился и быстрѣе зашагалъ.

— Братецъ, — тихо спросила матушка: — а сколько стоитъ поѣхать за границу?

— По меньшей мѣрѣ три тысячи . . . — отвѣтилъ плачущимъ голосомъ дядя. — Я бы поѣхалъ, а гдѣ ихъ взять? У меня ни копейки! Пф . . . изжога!

Дядя остановился, поглядѣлъ съ тоской на сѣрое, пасмурное окно и опять зашагалъ.

Наступило молчаніе . . . Матушка долго глядѣла на икону, что-то раздумывая, потомъ заплакала и сказала:

— Я, братецъ, дамъ вамъ три тысячи . . .

Дня черезъ три величественные чемоданы были отправлены на станцію, а вслѣдъ за ними укатилъ и тайный совѣтникъ. Прощаясь съ матушкой, онъ заплакалъ и долго не могъ оторвать губъ отъ ея руки, когда же онъ сѣлъ въ экипажъ, лицо его освѣтилось дѣтскою радостью . . . Сіяющій, счастливый, онъ усѣлся поудобнѣй, сдѣлалъ на прощанье плачущей матушкѣ ручкой и вдругъ неожиданно остановилъ свой взглядъ на мнѣ. На лицѣ его появилось выраженіе крайняго удивленія.

— А это что за мальчикъ? — спросилъ онъ.

Матушку, увѣрявшую меня, что дядюшку Богъ послалъ къ намъ на мое счастье, этотъ вопросъ сильно покоробилъ. Мнѣ же было не до вопросовъ. Я глядѣлъ на счастливое лицо дяди и мнѣ почему-то было страшно жаль его. Я не выдержалъ, вскочилъ въ экипажъ и горячо обнялъ этого легкомысленнаго и слабаго, какъ всѣ люди, человѣка. Глядя ему

въ глаза и желая сказать что-нибудь пріятное, я спросилъ:

— Дядя, вы были хоть разъ на войнѣ?

— Ахъ, милый мальчикъ . . . — засмѣялся дядя, цѣлуя меня: — милый мальчикъ, клянусь Богомъ. Такъ все это естественно, жизненно . . . клянусь Богомъ . . .

Коляска тронулась . . . Я глядѣлъ ей вслѣдъ и долго слышалъ это прощальное «клянусь Богомъ».

ПИСЬМО

Благочинный о. Ѳедоръ Орловъ, благообразный, хорошо упитанный мужчина, лѣтъ пятидесяти, какъ всегда важный и строгій, съ привычнымъ, никогда не сходящимъ съ лица выраженіемъ достоинства, но до крайности утомленный, ходилъ изъ угла въ уголъ по своей маленькой залѣ и напряженно думалъ объ одномъ: когда, наконецъ, уйдетъ его гость? Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. Гость, отецъ Анастасій, священникъ одного изъ подгородныхъ селъ, часа три тому назадъ пришелъ къ нему по своему дѣлу, очень непріятному и скучному, засидѣлся и теперь, положивъ локоть на толстую счетную книгу, сидѣлъ въ углу за круглымъ столикомъ и, повидимому, не думалъ уходить, хотя уже былъ девятый часъ вечера.

Не всякій умѣетъ во-время замолчать и во-время уйти. Нерѣдко случается, что даже свѣтски воспитанные, политичные люди не замѣчаютъ, какъ ихъ присутствіе возбуждаетъ въ утомленномъ или занятомъ хозяинѣ чувство, похожее на ненависть, и какъ это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отецъ же Анастасій отлично видѣлъ и понималъ, что его присутствіе тягостно и неумѣстно, что благочинный, служившій ночью

утреню, а въ полдень длинную обѣдню, утомленъ и хочетъ покоя: каждую минуту онъ собирался подняться и уйти, но не поднимался, сидѣлъ и какъ будто ждалъ чего-то. Это былъ старикъ 65-ти лѣтъ, дряхлый не по лѣтамъ, костлявый и сутуловатый, съ старчески-темнымъ, исхудалымъ лицомъ, съ красными вѣками и длинной, узкой, какъ у рыбы, спиной; одѣтъ онъ былъ въ щегольскую свѣтло-лиловую, но слишкомъ просторную для него рясу (подаренную ему вдовою одного недавно умершаго молодого священника), въ суконный кафтанъ съ широкимъ кожанымъ поясомъ и въ неуклюжіе сапоги, размѣръ и цвѣтъ которыхъ ясно показывалъ, что о. Анастасій обходился безъ калошъ. Несмотря на санъ и почтенные годы, что-то жалкенькое, забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, сѣдыя съ зеленымъ отливомъ косички на затылкѣ, большія лопатки на тощей спинѣ... Онъ молчалъ, не двигался и кашлялъ съ такою осторожностью, какъ будто боялся, чтобы отъ звуковъ кашля его присутствіе не стало замѣтнѣе.

У благочиннаго старикъ бывалъ по дѣлу. Мѣсяца два назадъ ему запретили служить впредь до разрѣшенія и назначили надъ нимъ слѣдствіе. Грѣховъ за нимъ числилось много. Онъ велъ нетрезвую жизнь, не ладилъ съ причтомъ и съ міромъ, небрежно велъ метрическія записи и отчетность — въ этомъ его обвиняли формально, но кромѣ того, еще съ давнихъ поръ носились слухи, что онъ вѣнчалъ за деньги недозволенные браки и

продавалъ пріѣзжавшимъ къ нему изъ города чиновникамъ и офицерамъ свидѣтельства о говѣніи. Эти слухи держались тѣмъ упорнѣе, что онъ былъ бѣденъ и имѣлъ девять человѣкъ дѣтей, жившихъ на его шеѣ и такихъ же неудачниковъ, какъ и онъ самъ. Сыновья были необразованы, избалованы и сидѣли безъ дѣла, а некрасивыя дочери не выходили замужъ.

Не имѣя силы быть откровеннымъ, благочинный ходилъ изъ угла въ уголъ, молчалъ, или же говорилъ намеками.

— Значитъ, вы нынче не поѣдете къ себѣ домой? — спросилъ онъ, останавливаясь около темнаго окна и просовывая мизинецъ къ спящей, надувшейся канарейкѣ.

О. Анастасій встрепенулся, осторожно кашлянулъ и сказалъ скороговоркой:

— Домой? Богъ съ нимъ, не поѣду, Ѳедоръ Ильичъ. Сами знаете, служить мнѣ нельзя, такъ что же я тамъ буду дѣлать? Нарочито я уѣхалъ, чтобъ людямъ въ глаза не глядѣть. Сами знаете, совѣстно не служить. Да и дѣло тутъ мнѣ есть, Ѳедоръ Ильичъ. Хочу завтра послѣ розговѣнья съ отцомъ-слѣдователемъ обстоятельно поговорить.

— Такъ . . . — зѣвнулъ благочинный. — А вы гдѣ остановились?

— У Зявкина.

О. Анастасій вдругъ вспомнилъ, что часа черезъ два благочинному предстоитъ служить пасхальную утреню, и ему стало такъ стыдно своего непріятнаго, стѣсняющаго присутствія, что онъ рѣшилъ немедленно уйти и дать утомленному человѣку покой.

И старикъ поднялся, чтобы уйти, но прежде чѣмъ начать прощаться, онъ минуту откашливался и пытливо, все съ тѣмъ же выраженіемъ неопредѣленнаго ожиданія во всей фигурѣ, глядѣлъ на спину благочиннаго; на лицѣ его заиграли стыдъ, робость и жалкій, принужденный смѣхъ, какимъ смѣются люди, не уважающіе себя. Какъ-то рѣшительно махнувъ рукой, онъ сказалъ съ сиплымъ дребезжащимъ смѣхомъ:

— Отецъ Ѳедоръ, продлите вашу милость до конца, велите на прощанье дать мнѣ... рюмочку водочки!

— Не время теперь пить водку, — строго сказалъ благочинный. — Стыдъ надо имѣть.

Отецъ Анастасій еще больше сконфузился, засмѣялся и, забывъ про свое рѣшеніе уходить домой, опустился на стулъ. Благочинный взглянулъ на его растерянное, сконфуженное лицо, на согнутое тѣло, и ему стало жаль старика.

— Богъ дастъ завтра выпьемъ, — сказалъ онъ, желая смягчить свой строгій отказъ. — Все хорошо во-время.

Благочинный вѣрилъ въ исправленіе людей, но теперь, когда въ немъ разгоралось чувство жалости, ему стало казаться, что этотъ подслѣдственный, испитой, опутанный грѣхами и немощами старикъ погибъ для жизни безвозвратно, что на землѣ нѣтъ уже силы, которая могла бы разогнуть его спину, дать взгляду ясность, задержать непріятный, робкій смѣхъ, какимъ онъ нарочно смѣялся, чтобы сгладить хотя немного производимое имъ на людей отталкивающее впечатлѣніе.

Старикъ казался уже о. Оедору не виновнымъ и не порочнымъ, а униженнымъ, оскорбленнымъ, несчастнымъ; вспомнилъ благочинный его попадью, девять человѣкъ дѣтей, грязныя нищенскія полати у Зявкина, вспомнилъ почему-то тѣхъ людей, которые рады видѣть пьяныхъ священниковъ и уличаемыхъ начальниковъ, и подумалъ, что самое лучшее, что могъ бы сдѣлать теперь о. Анастасій, это — какъ можно скорѣе умереть, навсегда уйти съ этого свѣта.

Послышались шаги.

— О. Ѳедоръ, вы не отдыхаете? — спросилъ изъ передней басъ.

— Нѣтъ, дьяконъ, войди.

Въ залу вошелъ сослуживецъ Орлова, дьяконъ Любимовъ, человѣкъ старый, съ плѣшью во все темя, но еще крѣпкій, черноволосый и съ густыми, черными, какъ у грузина, бровями. Онъ поклонился Анастасію и сѣлъ.

— Что скажешь хорошаго? — спросилъ благочинный.

— Да что хорошаго? — отвѣтилъ дьяконъ и, помолчавъ немного, продолжалъ съ улыбкой: — Малыя дѣти — малое горе, большія дѣти — большое горе. Тутъ такая исторія, о. Ѳедоръ, что никакъ не опомнюсь. Комедія, да и только.

Онъ еще немного помолчалъ, улыбнулся шире и сказалъ:

— Нынче Николай Матвѣичъ изъ Харькова вернулся. Про моего Петра мнѣ разсказывалъ. Былъ, говоритъ, у него раза два.

— Что же онъ тебѣ разсказывалъ?

— Встревожилъ, Богъ съ нимъ. Хотѣлъ меня порадовать, а какъ я раздумался, то выходитъ, что мало тутъ радости. Скорбѣть надо, а не радоваться... «Твой, говоритъ, Петрушка шибко живетъ, рукой, говоритъ, до него теперь не достанешь». Ну, и слава Богу, говорю. «Я, говоритъ, у него обѣдалъ и весь образъ его жизни видѣлъ. Живетъ, говоритъ, благородно, лучше и не надо». Мнѣ, извѣстно, любопытно, я и спрашиваю: а что за обѣдомъ у него подавали? «Сначала, говоритъ, рыбное, словно какъ бы на манеръ ухи, потомъ языкъ съ горошкомъ, а потомъ, говоритъ, индѣйку жареную». Это въ постъ-то индѣйку? Хороша, говорю, радость. Въ Великій постъ-то индѣйку? А?

— Удивительнаго мало, — сказалъ благочинный, насмѣшливо щуря глаза.

И заложивъ большіе пальцы обѣихъ рукъ за поясъ, онъ выпрямился и сказалъ тономъ, какимъ говорилъ обыкновенно проповѣди или объяснялъ ученикамъ въ уѣздномъ училищѣ Законъ Божій:

— Люди, не соблюдающіе постовъ, дѣлятся на двѣ различныя категоріи: одни не исполняютъ по легкомыслію, другіе же по невѣрію. Твой Петръ не исполняетъ по невѣрію. Да.

Дьяконъ робко поглядѣлъ на строгое лицо о. Ѳедора и сказалъ:

— Дальше — больше... Поговорили, потолковали, то да се, и оказывается еще, что мой невѣряка-сынокъ съ какой-то мадамой живетъ, съ чужой женой. Она у него на квартирѣ замѣсто

жены и хозяйки, чай разливаетъ, гостей принимаетъ и остальное прочее, какъ вѣнчаная. Уже третій годъ, какъ съ этой гадюкой хороводится. Комедія, да и только. Три года живутъ, а дѣтей нѣту.

— Стало-быть, въ цѣломудріи живутъ! — захихикалъ о. Анастасій, сипло кашляя. — Есть дѣти, отецъ дьяконъ, есть, да дома не держатъ! Въ воспитательные пріюты отсылаютъ! Хе-хе-хе . . . (Анастасій закашлялся).

— Не суйтесь, о. Анастасій, — строго сказалъ благочинный.

— Николай Матвѣичъ и спрашиваетъ его: «Какая это такая у васъ мадама за столомъ супъ разливаетъ?» — продолжалъ дьяконъ, мрачно оглядывая согнутое тѣло Анастасія. — А онъ ему: это, говоритъ, моя жена. А тотъ и спроси: «Давно ли изволили вѣнчаться?» Петръ и отвѣчаетъ: «Мы вѣнчались въ кондитерской Куликова».

Глаза благочиннаго гнѣвно вспыхнули и на вискахъ выступила краска. Помимо своей грѣховности, Петръ былъ ему несимпатиченъ, какъ человѣкъ вообще. О. Ѳедоръ имѣлъ противъ него, что называется, зубъ. Онъ помнилъ его еще мальчикомъ-гимназистомъ, помнилъ отчетливо, потому что и тогда еще онъ казался ему ненормальнымъ. Петруша-гимназистъ стыдился помогать въ алтарѣ, обижался, когда говорили ему «ты», входя въ комнаты, не крестился и, что памятнѣе всего, любилъ много и горячо говорить, а, по мнѣнію о. Ѳедора, многословіе дѣтямъ неприлично и

вредно; кромѣ того, Петруша презрительно и критически относился къ рыбной ловлѣ, до которой благочинный и дьяконъ были большіе охотники. Студентъ же Петръ вовсе не ходилъ въ церковь, спалъ до полудня, смотрѣлъ свысока на людей и съ какимъ-то особеннымъ задоромъ любилъ поднимать щекотливые, неразрѣшимые вопросы.

— Что же ты хочешь? — спросилъ благочинный, подходя къ дьякону и сердито глядя на него. — Что же ты хочешь? Этого слѣдовало ожидать! Я всегда зналъ и былъ увѣренъ, что изъ твоего Петра ничего путнаго не выйдетъ! Говорилъ я тебѣ и говорю. Что посѣялъ, то и пожинай теперь! Пожинай!

— Да что же я посѣялъ, о. Ѳедоръ? — тихо спросилъ дьяконъ, глядя снизу вверхъ на благочиннаго.

— А кто же виноватъ, какъ не ты? Ты родитель, твое чадо! Ты долженъ былъ наставлять, внушать страхъ Божій. Учить надо! Родить-то вы родите, а наставлять не наставляете. Это грѣхъ! Нехорошо! Стыдно!

Благочинный забылъ про свое утомленіе, шагалъ и продолжалъ говорить. На голомъ темени и на лбу дьякона выступили мелкія капли. Онъ поднялъ виноватые глаза на благочиннаго и сказалъ:

— Да развѣ я не наставлялъ, о. Ѳедоръ? Господи помилуй, развѣ я не отецъ своему дитю? Сами вы знаете, я для него ничего не жалѣлъ, всю жизнь старался и Бога молилъ, чтобъ ему настоящее

образованіе дать. Онъ у меня и въ гимназіи былъ, и репетиторовъ я ему нанималъ, и въ университетѣ онъ кончилъ. А что ежели я его умъ направить не могъ, о. Ѳедоръ, такъ вѣдь судите сами, на это у меня способности нѣтъ! Бывало, когда онъ студентомъ сюда пріѣзжалъ, я начну ему по-своему внушать, а онъ не слушаетъ. Скажешь ему: ходи въ церковь, а онъ: «зачѣмъ ходить?» Станешь ему объяснять, а онъ: «почему? зачѣмъ?» Или похлопаетъ меня по плечу и скажетъ: «Все на этомъ свѣтѣ относительно, приблизительно и условно. Ни я ничего не знаю, ни вы ничесоже не знаете, папаша».

О. Анастасій сипло разсмѣялся, закашлялся и шевельнулъ въ воздухѣ пальцами, какъ бы собираясь что-то сказать. Благочинный взглянулъ на него и сказалъ строго:

— Не суйтесь, о. Анастасій.

Старикъ смѣялся, сіялъ и видимо съ удовольствіемъ слушалъ дьякона, точно радъ былъ, что на этомъ свѣтѣ и кромѣ него есть еще грѣшные люди. Дьяконъ говорилъ искренно, съ сокрушеннымъ сердцемъ и даже слезы выступили у него на глазахъ. О. Ѳедору стало жаль его.

— Виноватъ ты, дьяконъ, виноватъ, — сказалъ онъ, но уже не такъ строго и горячо. — Умѣлъ родить, умѣй и наставить. Надо было еще въ дѣтствѣ его наставлять, а студента поди-ка, исправь!

Наступило молчаніе. Дьяконъ всплеснулъ руками и сказалъ со вздохомъ:

— А вѣдь мнѣ же за него отвѣчать придется!

— То-то вотъ оно и есть!

Помолчавъ немного, благочинный и зѣвнулъ, и вздохнулъ въ одно и то же время, и спросилъ:

— Кто «Дѣянія» читаетъ?

— Евстратъ. Всегда Евстратъ читаетъ.

Дьяконъ поднялся и, умоляюще глядя на благочиннаго, спросилъ:

— О. Ѳедоръ, что же мнѣ теперь дѣлать?

— Что хочешь, то и дѣлай. Не я отецъ, а ты. Тебѣ лучше знать.

— Ничего я не знаю, о. Ѳедоръ! Научите меня, сдѣлайте милость! Вѣрите ли, душа истомилась! Теперь я ни спать не могу, ни сидѣть спокойно, и праздникъ мнѣ не въ праздникъ. Научите, о. Ѳедоръ!

— Напиши ему письмо.

— Что же я ему писать буду?

— А напиши, что такъ нельзя. Кратко напиши, но строго и обстоятельно, не смягчая и не умаляя его вины. Это твоя родительская обязанность. Напишешь, исполнишь свой долгъ и успокоишься.

— Это вѣрно, но что же я ему напишу? Въ какихъ смыслахъ? Я ему напишу, а онъ мнѣ въ отвѣтъ: «почему? зачѣмъ? почему это грѣхъ?»

О. Анастасій опять сипло засмѣялся и шевельнулъ пальцами.

— Почему? Зачѣмъ? Почему это грѣхъ? — визгливо заговорилъ онъ. — Исповѣдую я разъ одного господина и говорю ему, что излишнее упованіе на милосердіе Божіе есть грѣхъ, а онъ

спрашиваетъ: почему? Хочу ему отвѣтить, а тутъ, — Анастасій хлопнулъ себя по лбу: — а тутъ-то у меня и нѣту! Хи-и-хе-хе-хе . . .

Слова Анастасія, его сиплый, дребезжащій смѣхъ надъ тѣмъ, что не смѣшно, подѣйствовали на благочиннаго и дьякона непріятно. Благочинный хотѣлъ было сказать старику «не суйтесь», но не сказалъ, а только поморщился.

— Не могу я ему писать! — вздохнулъ дьяконъ.

— Ты не можешь, такъ кто же можетъ?

— О. Ѳедоръ! — сказалъ дьяконъ, склоняя голову на бокъ и прижимая руку къ сердцу. — Я человѣкъ необразованный, слабоумный, васъ же Господь надѣлилъ разумомъ и мудростью. Вы все знаете и понимаете, до всего умомъ доходите, я же путемъ слова сказать не умѣю. Будьте великодушны, наставьте меня въ разсужденіи письма! Научите, какъ его и что . . .

— Что-жъ тутъ учить? Учить нечему. Сѣлъ да написалъ.

— Нѣтъ, ужъ сдѣлайте милость, отецъ-настоятель! Молю васъ. Я знаю, вашего письма онъ убоится и послушается, потому вѣдь вы тоже образованный. Будьте такіе добрые! Я сяду, а вы мнѣ подиктуйте. Завтра писать грѣхъ, а нынче бы самое въ пору, я бы успокоился.

Благочинный поглядѣлъ на умоляющее лицо дьякона, вспомнилъ несимпатичнаго Петра и согласился диктовать. Онъ усадилъ дьякона за свой столъ и началъ:

— Ну, пиши . . . Христосъ воскресъ, любезный сынъ . . . знакъ восклицанія. Дошли до меня, твоего отца, слухи . . . далѣе въ скобкахъ . . . а изъ какого источника, тебя это не касается . . . скобка . . . Написалъ? . . что ты ведешь жизнь несообразную ни съ божескими, ни съ человѣческими законами. Ни комфортабельность, ни свѣтское великолѣпіе, ни образованность, коими ты наружно прикрываешься, не могутъ скрыть твоего языческаго вида. Именемъ ты христіанинъ, но по сущности своей язычникъ, столь же жалкій и несчастный, какъ и всѣ прочіе язычники, даже еще жалчѣе, ибо: тѣ язычники, не зная Христа, погибаютъ отъ невѣдѣнія, ты же погибаешь отъ того, что обладаешь сокровищемъ, но небрежешь имъ. Не стану перечислять здѣсь твоихъ пороковъ, кои тебѣ достаточно извѣстны, скажу только, что причину твоей погибели вижу я въ твоемъ невѣріи. Ты мнишь себя мудрымъ быти, похваляешься знаніемъ наукъ, а того не хочешь понять, что наука безъ вѣры не только не возвышаетъ человѣка, но даже низводитъ его на степень низменнаго животнаго, ибо . . .

Все письмо было въ такомъ родѣ. Кончивъ писать, дьяконъ прочелъ его вслухъ, просіялъ и вскочилъ.

— Даръ, истинно даръ! — сказалъ онъ, восторженно глядя на благочиннаго и всплескивая руками. — Пошлетъ же Господь такое дарованіе! А? Мать Царица! Во сто лѣтъ бы, кажется, такого письма не сочинилъ! Спаси васъ Господи!

О. Анастасій тоже пришелъ въ восторгъ.

— Безъ дара такъ не напишешь! — сказалъ онъ, вставая и шевеля пальцами. — Не напишешь! Тутъ такая риторика, что любому философу можно запятую поставить и въ носъ ткнуть. Умъ! Свѣтлый умъ! Не женились бы, о. Ѳедоръ, давно бы въ архіереяхъ были, истинно, были бы!

Изливъ свой гнѣвъ въ письмѣ, благочинный почувствовалъ облегченіе. Къ нему вернулись и утомленіе, и разбитость. Дьяконъ былъ свой человѣкъ, и благочинный не постѣснился сказать ему:

— Ну, дьяконъ, ступай съ Богомъ. Я съ полчасика на диванѣ подремлю, отдохнуть надо.

Дьяконъ ушелъ и увелъ съ собою Анастасія. Какъ всегда бываетъ наканунѣ Свѣтлаго дня, на улицѣ было темно, но все небо сверкало яркими, лучистыми звѣздами. Въ тихомъ неподвижномъ воздухѣ пахло весной и праздникомъ.

— Сколько времени онъ диктовалъ? — изумлялся дьяконъ. — Минутъ десять, не больше! Другой бы и въ мѣсяцъ такого письма не сочинилъ. А? Вотъ умъ! Такой умъ, что я и сказать не умѣю! Удивленіе! Истинно, удивленіе!

— Образованіе! — вздохнулъ Анастасій, при переходѣ черезъ грязную улицу поднимая до пояса полы своей рясы. — Не намъ съ нимъ равняться. Мы изъ дьячковъ, а вѣдь онъ науки проходилъ. Да. Настоящій человѣкъ, что и говорить.

— А вы послушайте, какъ онъ нынче въ обѣднѣ Евангеліе будетъ читать по-латынски! И полатынски онъ знаетъ, и по-гречески знаетъ . . .

А Петруха, Петруха! — вдругъ вспомнилъ дьяконъ. — Ну, теперь онъ поче-ешется! Закуситъ языкъ! Будетъ помнить Кузькину мать! Теперь уже не спроситъ: «почему?» Вотъ ужъ именно дока на доку наскочилъ! Ха-ха-ха!

Дьяконъ весело и громко разсмѣялся. Послѣ того, какъ письмо къ Петру было написано, онъ повеселѣлъ и успокоился. Сознаніе исполненнаго родительскаго долга и вѣра въ силу письма вернули къ нему и его смѣшливость, и добродушіе.

— Петръ въ переводѣ значитъ камень, — говорилъ онъ, подходя къ своему дому. — Мой же Петръ не камень, а тряпка. Гадюка на него насѣла, а онъ съ ней няньчится, спихнуть ее не можетъ. Тьфу! Есть же, прости Господи, такія женщины! А? Гдѣ-жъ въ ней стыдъ? Насѣла на парня, прилипла и около юбки держитъ . . . къ шутамъ ее на пасѣку!

— А можетъ, не она его держитъ, а онъ ее?

— Все-таки, значитъ, въ ней стыда нѣтъ! А Петра я не защищаю . . . Ему достанется . . . Прочтетъ письмо и почешетъ затылокъ! Сгоритъ со стыда!

— Письмо славное, но только того . . . не посылать бы его, отецъ дьяконъ. Богъ съ нимъ!

— А что? — испугался дьяконъ.

— Да такъ! Не посылай, дьяконъ! Что толку? Ну, ты пошлешь, онъ прочтетъ, а . . . а дальше что? Встревожишь только. Прости, Богъ съ нимъ!

Дьяконъ удивленно поглядѣлъ на темное лицо Анастасія, на его распахнувшуюся рясу, похожую въ потемкахъ на крылья, и пожалъ плечами.

— Какъ же такъ прощать? — спросилъ онъ. — Вѣдь я же за него Богу отвѣчать буду.

— Хоть и такъ, а все же прости. Право! А Богъ за твою доброту и тебя проститъ.

— Да вѣдь онъ мнѣ сынъ? Долженъ я его учить, или нѣтъ?

— Учить? Отчего не учить? Учить можно, а только зачѣмъ язычникомъ обзывать? Вѣдь ему, дьяконъ, обидно . . .

Дьяконъ былъ вдовъ и жилъ въ маленькомъ, трехъоконномъ домикѣ. Хозяйствомъ у него завѣдывала его старшая сестра, дѣвушка, года три тому назадъ лишившаяся ногъ и потому не сходившая съ постели; онъ ея боялся, слушался и ничего не дѣлалъ безъ ея совѣтовъ. О. Анастасій зашелъ къ нему. Увидѣвъ у него столъ, уже покрытый куличами и красными яйцами, онъ почему-то, вѣроятно вспомнивъ про свой домъ, заплакалъ и, чтобы обратить эти слезы въ шутку, тотчасъ же сипло засмѣялся.

— Да, скоро разговляться, — сказалъ онъ. — Да . . . Оно бы, дьяконъ, и сейчасъ не мѣшало . . . рюмочку выпить. Можно? Я такъ выпью, — зашепталъ онъ, косясь на дверь: — что старушка . . . не услышитъ . . . ни-ни . . .

Дьяконъ молча пододвинулъ къ нему графинъ и рюмку, развернулъ письмо и сталъ читать вслухъ. И теперь письмо ему такъ же понравилось, какъ и въ то время, когда благочинный диктовалъ его. Онъ просіялъ отъ удовольствія и, точно попробовавъ что-то очень сладкое, покрутилъ головой.

— Ну, письмо-о! — сказалъ онъ. — И не снилось Петрухѣ такое письмо. Такое вотъ и надо ему, чтобъ въ жаръ его бросило . . . во!

— Знаешь, дьяконъ? Не посылай! — сказалъ Анастасій, наливая какъ бы въ забывчивости вторую рюмку. — Прости, Богъ съ нимъ! Я тебѣ . . . вамъ по совѣсти. Ежели отецъ родной его не проститъ, то кто-жъ его проститъ? Такъ и будетъ, значитъ, безъ прощенія жить? А ты, дьяконъ, разсуди: наказующіе и безъ тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующихъ поискалъ! Я . . . я, братушка, выпью . . . Послѣдняя . . . Прямо такъ возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петръ! Онъ пойме-етъ! Почу-увствуетъ! Я, братъ . . . я, дьяконъ, по себѣ это понимаю. Когда жилъ какъ люди, и горя мнѣ было мало, а теперь, когда образъ и подобіе потерялъ, только одного и хочу, чтобъ меня добрые люди простили. Да и то разсуди, не праведниковъ прощать надо, а грѣшниковъ. Для чего тебѣ старушку твою прощать, ежели она не грѣшная? Нѣтъ, ты такого прости, на котораго глядѣть жалко . . . да!

Анастасій подперъ голову кулакомъ и задумался.

— Бѣда, дьяконъ, — вздохнулъ онъ, видимо борясь съ желаніемъ выпить. — Бѣда! Во грѣсѣхъ роди мя мати моя, во грѣсѣхъ жилъ, во грѣсѣхъ и помру . . . Господи, прости меня грѣшнаго! Запутался я, дьяконъ! Нѣтъ мнѣ спасенія! И не то чтобы въ жизни запутался, а въ самой старости передъ смертью . . . Я . . .

Старикъ махнулъ рукой и еще выпилъ, потомъ всталъ и пересѣлъ на другое мѣсто. Дьяконъ, не выпуская изъ рукъ письма, заходилъ изъ угла въ уголъ. Онъ думалъ о своемъ сынѣ. Недовольство, скорбь и страхъ уже не безпокоили его: все это ушло въ письмо. Теперь онъ только воображалъ себѣ Петра, рисовалъ его лицо, вспоминалъ прошлые годы, когда сынъ пріѣзжалъ гостить на праздники. Думалось одно лишь хорошее, теплое, грустное, о чемъ можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь. Скучая по сынѣ, онъ еще разъ прочелъ письмо и вопросительно поглядѣлъ на Анастасія.

— Не посылай! — сказалъ тотъ, махнувъ кистью руки.

— Нѣтъ, все-таки . . . надо. Все-таки оно его того . . . немножко на умъ наставитъ. Не лишнее . . .

Дьяконъ досталъ изъ стола конвертъ, но прежде чѣмъ вложить въ него письмо, сѣлъ за столъ, улыбнулся и прибавилъ отъ себя внизу письма: «А къ намъ новаго штатнаго смотрителя прислали. Этотъ пошустрѣй прежняго. И плясунъ, и говорунъ, и на всѣ руки, такъ что говоровскія дочки отъ него безъ ума. Воинскому начальнику Костыреву тоже, говорятъ, скоро отставка. Пора!» И очень довольный, не понимая, что этой припиской онъ въ конецъ испортилъ строгое письмо, дьяконъ написалъ адресъ и положилъ письмо на самое видное мѣсто стола.

ПОЦѢЛУЙ

20-го мая, въ 8 часовъ вечера, всѣ шесть батарей N-ой резервной артиллерійской бригады, направлявшейся въ лагерь, остановились на ночевку въ селѣ Мѣстечкахъ. Въ самый разгаръ суматохи, когда одни офицеры хлопотали около пушекъ, а другіе, съѣхавшись на площади около церковной ограды, выслушивали квартирьеровъ, изъ-за церкви показался верховой въ штатскомъ платьѣ и на странной лошади. Лошадь буланая и маленькая, съ красивой шеей и съ короткимъ хвостомъ, шла не прямо, а какъ-то бокомъ и выдѣлывала ногами маленькія, плясовыя движенія, какъ будто ее били хлыстомъ по ногамъ. Подъѣхавъ къ офицерамъ, верховой приподнялъ шляпу и сказалъ:

— Его превосходительство генералъ-лейтенантъ фонъ-Раббекъ, здѣшній помѣщикъ, приглашаетъ господъ офицеровъ пожаловать къ нему сію минуту на чай . . .

Лошадь поклонилась, затанцовала и попятилась бокомъ назадъ; верховой еще разъ приподнялъ шляпу и черезъ мгновеніе вмѣстѣ со своею странною лошадью исчезъ за церковью.

— Чортъ знаетъ что такое! — ворчали нѣкоторые офицеры, расходясь по квартирамъ. — Спать

хочется, а тутъ этотъ фонъ-Раббекъ со своимъ чаемъ! Знаемъ, какой тутъ чай!

Офицерамъ всѣхъ шести батарей живо припомнился прошлогодній случай, когда во время маневровъ они, и съ ними офицеры одного казачьяго полка, такимъ же вотъ образомъ были приглашены на чай однимъ помѣщикомъ-графомъ, отставнымъ военнымъ; гостепріимный и радушный графъ обласкалъ ихъ, накормилъ, напоилъ и не пустилъ въ деревню на квартиры, а оставилъ ночевать у себя. Все это, конечно, хорошо, лучшаго и не нужно, но бѣда въ томъ, что отставной военный обрадовался молодежи не въ мѣру. Онъ до самой зари разсказывалъ офицерамъ эпизоды изъ своего хорошаго прошлаго, водилъ ихъ по комнатамъ, показывалъ дорогія картины, старыя гравюры, рѣдкое оружіе, читалъ подлинныя письма высокопоставленныхъ людей, а измученные, утомленные офицеры слушали, глядѣли и, тоскуя по постелямъ, осторожно зѣвали въ рукава; когда, наконецъ, хозяинъ отпустилъ ихъ, спать было уже поздно.

Не таковъ ли этотъ фонъ-Раббекъ? Таковъ или не таковъ, но дѣлать было нечего. Офицеры пріодѣлись, почистились и гурьбою пошли искать помѣщичій домъ. На площади, около церкви, имъ сказали, что къ господамъ можно пройти низомъ — за церковью спуститься къ рѣкѣ и идти берегомъ до самаго сада, а тамъ аллеи доведутъ куда нужно, или же верхомъ — прямо отъ церкви по дорогѣ, которая въ полуверстѣ отъ деревни упирается въ господскіе амбары. Офицеры рѣшили идти верхомъ.

— Какой же это фонъ-Раббекъ? — разсуждали они дорогой. — Не тотъ ли, что подъ Плевной командовалъ N-й кавалерійской дивизіей?

— Нѣтъ, тотъ не фонъ-Раббекъ, а просто Раббе, и безъ фонъ.

— А какая хорошая погода!

У перваго господскаго амбара дорога раздваивалась: одна вѣтвь шла прямо и исчезала въ вечерней мглѣ, другая — вела вправо къ господскому дому. Офицеры повернули вправо и стали говорить тише . . . По обѣ стороны дороги тянулись каменные амбары съ красными крышами, тяжелые и суровые, очень похожіе на казармы уѣзднаго города. Впереди свѣтились окна господскаго дома.

— Господа, хорошая примѣта! — сказалъ кто-то изъ офицеровъ. — Нашъ сетеръ идетъ впереди всѣхъ; значитъ, чуетъ, что будетъ добыча! . .

Шедшій впереди всѣхъ поручикъ Лобытко, высокій и плотный, но совсѣмъ безусый (ему было болѣе 25 лѣтъ, но на его кругломъ, сытомъ лицѣ почему-то еще не показывалась растительность), славившійся въ бригадѣ своимъ чутьемъ и умѣньемъ угадывать на разстояніи присутствіе женщинъ, обернулся и сказалъ:

— Да, здѣсь женщины должны быть. Это я инстинктомъ чувствую.

У порога дома офицеровъ встрѣтилъ самъ фонъ-Раббекъ, благообразный старикъ лѣтъ шестидесяти, одѣтый въ штатское платье. Пожимая гостямъ руки, онъ сказалъ, что онъ очень радъ и счастливъ, но убѣдительно, ради Бога, проситъ господъ

офицеровъ извинить его за то, что онъ не пригласилъ ихъ къ себѣ ночевать; къ нему пріѣхали двѣ сестры съ дѣтьми, братья и сосѣди, такъ что у него не осталось ни одной свободной комнаты.

Генералъ пожималъ всѣмъ руки, просилъ извиненія и улыбался, но по лицу его видно было, что онъ былъ далеко не такъ радъ гостямъ, какъ прошлогодній графъ, и что пригласилъ онъ офицеровъ только потому, что этого, по его мнѣнію, требовало приличіе. И сами офицеры, идя вверхъ по мягкой лѣстницѣ и слушая его, чувствовали, что они приглашены въ этотъ домъ только потому, что было бы неловко не пригласить ихъ, и при видѣ лакеевъ, которые спѣшили зажигать огни внизу у входа и наверху въ передней, имъ стало казаться, что они внесли съ собою въ этотъ домъ безпокойство и тревогу. Тамъ, гдѣ, вѣроятно ради какого-нибудь семейнаго торжества или событія, съѣхались двѣ сестры съ дѣтьми, братья и сосѣди, можетъ ли понравиться присутствіе девятнадцати незнакомыхъ офицеровъ?

Наверху, у входа въ залу, гости были встрѣчены высокой и стройной старухой съ длиннымъ черно-бровымъ лицомъ, очень похожей на императрицу Евгенію. Привѣтливо и величественно улыбаясь, она говорила, что рада и счастлива видѣть у себя гостей, и извинялась, что она и мужъ лишены на этотъ разъ возможности пригласить гг. офицеровъ къ себѣ ночевать. По ея красивой, величественной улыбкѣ, которая мгновенно исчезала съ лица всякій разъ, когда она отворачивалась зачѣмъ-

нибудь отъ гостей, видно было, что на своемъ вѣку она видѣла много гг. офицеровъ, что ей теперь не до нихъ, а если она пригласила ихъ къ себѣ въ домъ и извиняется, то только потому, что этого требуютъ ея воспитаніе и положеніе въ свѣтѣ.

Въ большой столовой, куда вошли офицеры, на одномъ краю длиннаго стола сидѣло за чаемъ съ десятокъ мужчинъ и дамъ, пожилыхъ и молодыхъ. За ихъ стульями, окутанная легкимъ сигарнымъ дымомъ, темнѣла группа мужчинъ; среди нея стоялъ какой-то худощавый молодой человѣкъ съ рыжими бачками и, картавя, о чемъ-то громко говорилъ по-англійски. Изъ-за группы, сквозь дверь, видна была свѣтлая комната съ голубою мебелью.

— Господа, васъ такъ много, что представлять нѣтъ никакой возможности! — сказалъ громко генералъ, стараясь казаться очень веселымъ. — Знакомьтесь, господа, сами попросту!

Офицеры — одни съ очень серьезными и даже строгими лицами, другіе, натянуто улыбаясь, и всѣ вмѣстѣ чувствуя себя очень неловко, кое-какъ раскланялись и сѣли за чай.

Больше всѣхъ чувствовалъ себя неловко штабсъ-капитанъ Рябовичъ, маленькій, сутуловатый офицеръ, въ очкахъ и съ бакенами, какъ у рыси. Въ то время, какъ одни изъ его товарищей дѣлали серьезныя лица, а другіе натянуто улыбались, его лицо, рысьи бакены и очки какъ бы говорили: «Я самый робкій, самый скромный и самый безцвѣтный офицеръ во всей бригадѣ!» На первыхъ порахъ,

входя въ столовую и потомъ сидя за чаемъ, онъ никакъ не могъ остановить своего вниманія на какомъ-нибудь одномъ лицѣ или предметѣ. Лица, платья, граненые графинчики съ коньякомъ, паръ отъ стакановъ, лѣпные карнизы — все это сливалось въ одно общее, громадное впечатлѣніе, вселявшее въ Рябовича тревогу и желаніе спрятать свою голову. Подобно чтецу, впервые выступающему передъ публикой, онъ видѣлъ все, что было у него передъ глазами, но видимое какъ-то плохо понималось (у физіологовъ такое состояніе, когда субъектъ видитъ, но не понимаетъ, называется «психической слѣпотой»). Немного же погодя, освоившись, Рябовичъ прозрѣлъ и сталъ наблюдать. Ему, какъ человѣку робкому и необщественному, прежде всего бросилось въ глаза то, чего у него никогда не было, а именно — необыкновенная храбрость новыхъ знакомыхъ. Фонъ-Раббекъ, его жена, двѣ пожилыя дамы, какая-то барышня въ сиреневомъ платьѣ и молодой человѣкъ съ рыжими бачками, оказавшійся младшимъ сыномъ Раббека, очень хитро, точно у нихъ ранѣе была репетиція, размѣстились среди офицеровъ и тотчасъ же подняли горячій споръ, въ который не могли не вмѣшаться гости. Сиреневая барышня стала горячо доказывать, что артиллеристамъ живется гораздо легче, чѣмъ кавалеріи и пѣхотѣ, а Раббекъ и пожилыя дамы утверждали противное. Начался перекрестный разговоръ. Рябовичъ глядѣлъ на сиреневую барышню, которая очень горячо спорила о томъ, что было для нея чуждо и вовсе не интересно, и

слѣдилъ, какъ на ея лицѣ появлялись и исчезали неискреннія улыбки.

Фонъ-Раббекъ и его семья искусно втягивали офицеровъ въ споръ, а сами между тѣмъ зорко слѣдили за ихъ стаканами и ртами, всѣ ли они пьютъ, у всѣхъ ли сладко, и отчего такой-то не ѣстъ бисквитовъ или не пьетъ коньяку. И чѣмъ больше Рябовичъ глядѣлъ и слушалъ, тѣмъ больше нравилась ему эта неискренняя, но прекрасно дисциплинированная семья.

Послѣ чая офицеры пошли въ залъ. Чутье не обмануло поручика Лобытко: въ залѣ было много барышенъ и молодыхъ дамъ. Сетеръ-поручикъ уже стоялъ около одной очень молоденькой блондинки въ черномъ платьѣ и, ухарски изогнувшись, точно опираясь на невидимую саблю, улыбался и кокетливо игралъ плечами. Онъ говорилъ, вѣроятно, какой-нибудь очень интересный вздоръ, потому что блондинка снисходительно глядѣла на его сытое лицо и равнодушно спрашивала: «Неужели?» И по этому безстрастному «неужели» сетеръ, если бы былъ уменъ, могъ бы заключить, что ему едва ли крикнутъ «пиль!»

Загремѣлъ рояль; грустный вальсъ изъ залы полетѣлъ въ настежь открытыя окна, и всѣ почему-то вспомнили, что за окнами теперь весна, майскій вечеръ. Всѣ почувствовали, что въ воздухѣ пахнетъ молодой листвой тополя, розами и сиренью. Рябовичъ, въ которомъ, подъ вліяніемъ музыки, заговорилъ выпитый коньякъ, покосился на окно, улыбнулся и сталъ слѣдить за движеніями

женщинъ, и ему уже казалось, что запахъ розъ, тополя и сирени идетъ не изъ сада, а отъ женскихъ лицъ и платьевъ.

Сынъ Раббека пригласилъ какую-то тощую дѣвицу и сдѣлалъ съ нею два тура. Лобытко, скользя по паркету, подлетѣлъ къ сиреневой барышнѣ и понесся съ нею по залѣ. Танцы начались... Рябовичъ стоялъ около двери среди нетанцующихъ и наблюдалъ. Во всю свою жизнь онъ ни разу не танцовалъ и ни разу въ жизни ему не приходилось обнимать талію порядочной женщины. Ему ужасно нравилось, когда человѣкъ у всѣхъ на глазахъ бралъ незнакомую дѣвушку за талію и подставлялъ ей для руки свое плечо, но вообразить себя въ положеніи этого человѣка онъ никакъ не могъ. Было время, когда онъ завидовалъ храбрости и прыти своихъ товарищей и болѣлъ душою; сознаніе, что онъ робокъ, сутуловатъ и безцвѣтенъ, что у него длинная талія и рысьи бакены, глубоко оскорбляло его, но съ лѣтами это сознаніе стало привычнымъ, и теперь онъ, глядя на танцующихъ или громко говорящихъ, уже не завидовалъ, а только грустно умилялся.

Когда началась кадриль, молодой фонъ-Раббекъ подошелъ къ нетанцующимъ и пригласилъ двухъ офицеровъ сыграть на билліардѣ. Офицеры согласились и пошли съ нимъ изъ залы. Рябовичъ отъ нечего дѣлать, желая принять хоть какое-нибудь участіе въ общемъ движеніи, поплелся за ними. Изъ залы они прошли въ гостиную, потомъ въ узкій стеклянный корридоръ, отсюда въ комнату,

гдѣ, при появленіи ихъ, быстро вскочили съ диванов три сонныя лакейскія фигуры. Наконецъ, пройдя цѣлый рядъ комнатъ, молодой Раббекъ и офицеры вошли въ небольшую комнату, гдѣ стоялъ билліардъ. Началась игра.

Рябовичъ, никогда не игравшій ни во что, кромѣ картъ, стоялъ возлѣ билліарда и равнодушно глядѣлъ на игроковъ, а они, въ разстегнутыхъ сюртукахъ, съ кіями въ рукахъ, шагали, каламбурили и выкрикивали непонятныя слова. Игроки не замѣчали его, и только изрѣдка кто-нибудь изъ нихъ, толкнувъ его локтемъ, или зацѣпивъ нечаянно кіемъ, оборачивался и говорилъ: «pardon!» Первая партія еще не кончилась, а ужъ онъ соскучился и ему стало казаться, что онъ лишній и мѣшаетъ . . . Его потянуло обратно въ залу, и онъ вышелъ.

На обратномъ пути ему пришлось пережить маленькое приключеніе. На полдорогѣ онъ замѣтилъ, что идетъ не туда, куда нужно. Онъ отлично помнилъ, что на пути ему должны встрѣтиться три сонныя лакейскія фигуры, но прошелъ онъ пять-шесть комнатъ, эти фигуры точно сквозь землю провалились. Замѣтивъ свою ошибку, онъ прошелъ немного назадъ взялъ вправо и очутился въ полутемномъ кабинетѣ, какого не видалъ, когда шелъ въ билліардную; постоявъ здѣсь полминуты, онъ рѣшительно отворилъ первую попавшуюся ему на глаза дверь и вошелъ въ совершенно темную комнату. Прямо видна была дверная щель, въ которую билъ яркій свѣтъ; изъ-за двери доносились

глухіе звуки грустной мазурки. Тутъ такъ же, какъ и въ залѣ, окна были открыты настежь и пахло тополемъ, сиренью и розами . . .

Рябовичъ остановился въ раздумьи . . . Въ это время неожиданно для него послышались торопливые шаги и шуршанье платья, женскій задыхающійся голосъ прошепталъ: «наконецъ-то!» и двѣ мягкія, пахучія, несомнѣнно женскія руки охватили его шею; къ его щекѣ прижалась теплая щека и одновременно раздался звукъ поцѣлуя. Но тотчасъ же цѣловавшая слегка вскрикнула и, какъ показалось Рябовичу, съ отвращеніемъ отскочила отъ него. Онъ тоже едва не вскрикнулъ и бросился къ яркой дверной щели . . .

Когда онъ вернулся въ залу, сердце его билось, и руки дрожали такъ замѣтно, что онъ поторопился спрятать ихъ за спину. На первыхъ порахъ его мучили стыдъ и страхъ, что весь залъ знаетъ о томъ, что его сейчасъ обнимала и цѣловала женщина, онъ ежился и безпокойно оглядывался по сторонамъ, но, убѣдившись, что въ залѣ попрежнему преспокойно пляшутъ и болтаютъ, онъ весь предался новому, до сихъ поръ ни разу въ жизни неиспытанному ощущенію. Съ нимъ дѣлалось что-то странное . . . Его шея, которую только-что обхватывали мягкія пахучія руки, казалось ему, была вымазана масломъ; на щекѣ около лѣваго уса, куда поцѣловала незнакомка, дрожалъ легкій, пріятный холодокъ, какъ отъ мятныхъ капель, и чѣмъ больше онъ теръ это мѣсто, тѣмъ сильнѣе чувствовался этотъ холодокъ, весь же онъ отъ

головы до пятъ былъ полонъ новаго страннаго чувства, которое все росло и росло... Ему захотѣлось плясать, говорить, бѣжать въ садъ, громко смѣяться... Онъ совсѣмъ забылъ, что онъ сутуловатъ и безцвѣтенъ, что у него рысьи бакены и «неопредѣленная наружность» (такъ однажды была названа его наружность въ дамскомъ разговорѣ, который онъ нечаянно подслушалъ). Когда мимо него проходила жена Раббека, онъ улыбнулся ей такъ широко и ласково, что она остановилась и вопросительно поглядѣла на него.

— Вашъ домъ мнѣ ужасно нравится!.. — сказалъ онъ, поправляя очки.

Генеральша улыбнулась и разсказала, что этотъ домъ принадлежалъ еще ея отцу, потомъ она спросила, живы ли его родители, давно ли онъ на службѣ, отчего такъ тощъ и проч. Получивъ отвѣты на свои вопросы, она пошла дальше, а онъ послѣ разговора съ нею сталъ улыбаться еще ласковѣе и думать, что его окружаютъ великолѣпнѣйшіе люди...

За ужиномъ Рябовичъ машинально ѣлъ все, что ему предлагали, пилъ и, не слыша ничего, старался объяснить себѣ недавнее приключеніе... Это приключеніе носило характеръ таинственный и романическій, но объяснить его было не трудно. Навѣрное, какая-нибудь барышня или дама назначила кому-нибудь свиданіе въ темной комнатѣ, долго ждала и, будучи нервно возбуждена, приняла Рябовича за своего героя; это тѣмъ болѣе вѣроятно, что Рябовичъ, проходя черезъ темную комнату,

остановился въ раздумьи, то-есть имѣлъ видъ человѣка, который тоже чего-то ждетъ . . . Такъ и объяснилъ себѣ Рябовичъ полученный поцѣлуй.

«А кто же она? — думалъ онъ, оглядывая женскія лица. — Она должна быть молода, потому что старыя не ходятъ на свиданія. Затѣмъ, что она интеллигентна, чувствовалось по шороху платья, по запаху, по голосу . . .»

Онъ остановилъ взглядъ на сиреневой барышнѣ, и она ему очень понравилась; у нея были красивыя плечи и руки, умное лицо и прекрасный голосъ. Рябовичу, глядя на нее, захотѣлось, чтобы именно она, а не кто другая, была тою незнакомкой . . . Но она какъ-то неискренно засмѣялась и поморщила свой длинный носъ, который показался ему старообразнымъ; тогда онъ перевелъ взглядъ на блондинку въ черномъ платьѣ. Эта была моложе, попроще и искреннѣе, имѣла прелестные виски и очень красиво пила изъ рюмки. Рябовичу теперь захотѣлось, чтобы она была тою. Но скоро онъ нашелъ, что ея лицо плоско, и перевелъ глаза на ея сосѣдку . . .

«Трудно угадать, — думалъ онъ, мечтая. — Если отъ сиреневой взять только плечи и руки, прибавить виски блондинки, а глаза взять у этой, что сидитъ налѣво отъ Лобытко, то . . .»

Онъ сдѣлалъ въ умѣ сложеніе и у него получился образъ дѣвушки, цѣловавшей его, тотъ образъ, котораго онъ хотѣлъ, но никакъ не могъ найти за столомъ . . .

Послѣ ужина гости, сытые и охмелѣвшіе, стали прощаться и благодарить. Хозяева опять начали извиняться, что не могутъ оставить ихъ у себя ночевать.

— Очень, очень радъ, господа! — говорилъ генералъ, и на этотъ разъ искренно (вѣроятно оттого, что, провожая гостей, люди бываютъ гораздо искреннѣе и добрѣе, чѣмъ встрѣчая). — Очень радъ! Милости просимъ на обратномъ пути! Безъ церемоніи! Куда же вы? Хотите вѣрхомъ идти? Нѣтъ, идите черезъ садъ, низомъ — здѣсь ближе.

Офицеры вышли въ садъ. Послѣ яркаго свѣта и шума въ саду показалось имъ очень темно и тихо. До самой калитки шли они молча. Были они полупьяны, веселы, довольны, но потемки и тишина заставили ихъ на минуту призадуматься. Каждому изъ нихъ, какъ Рябовичу, вѣроятно, пришла одна и та же мысль: настанетъ ли и для нихъ когда-нибудь время, когда они, подобно Раббеку, будутъ имѣть большой домъ, семью, садъ, когда и они будутъ имѣть также возможность, хотя бы неискренно, ласкать людей, дѣлать ихъ сытыми, пьяными, довольными?

Выйдя изъ калитки, они всѣ сразу заговорили и безъ причины стали громко смѣяться. Теперь ужъ они шли по тропинкѣ, которая спускалась внизъ къ рѣкѣ и потомъ бѣжала у самой воды, огибая прибрежные кусты, промоины и вербы, нависшія надъ водой. Берегъ и тропинка были еле видны, а другой берегъ весь тонулъ въ потемкахъ. Кое-гдѣ на темной водѣ отражались звѣзды;

онѣ дрожали и расплывались — и только по этому можно было догадаться, что рѣка текла быстро. Было тихо. На томъ берегу стонали сонные кулики, а на этомъ, въ одномъ изъ кустовъ, не обращая никакого вниманія на толпу офицеровъ, громко заливался соловей. Офицеры постояли около куста, потрогали его, а соловей все пѣлъ.

— Каковъ? — послышались одобрительные возгласы. — Мы стоимъ возлѣ, а онъ ноль вниманія! Этакая шельма!

Въ концѣ пути тропинка шла вверхъ и около церковной ограды впадала въ дорогу. Здѣсь офицеры, утомленные ходьбой на гору, посидѣли, покурили. На другомъ берегу показался красный, тусклый огонекъ, и они отъ нечего дѣлать долго рѣшали, костеръ ли это, огонь ли въ окнѣ, или что-нибудь другое . . . Рябовичъ тоже глядѣлъ на огонь, и ему казалось, что этотъ огонь улыбался и подмигивалъ ему съ такимъ видомъ, какъ будто зналъ о поцѣлуѣ.

Придя на квартиру, Рябовичъ поскорѣе раздѣлся и легъ. Въ одной избѣ съ нимъ остановились Лобытко и поручикъ Мерзляковъ, тихій, молчаливый малый, считавшійся въ своемъ кружкѣ образованнымъ офицеромъ и всегда, гдѣ только было возможно, читавшій «Вѣстникъ Европы», который возилъ всюду съ собою. Лобытко раздѣлся, долго ходилъ изъ угла въ уголъ, съ видомъ человѣка, который не удовлетворенъ, и послалъ денщика за пивомъ. Мерзляковъ легъ, поставилъ у изголовья свѣчу и погрузился въ чтеніе «Вѣстника Европы».

«Кто же она?» — думалъ Рябовичъ, глядя на закопченый потолокъ.

Шея его все еще, казалось ему, была вымазана масломъ и около рта чувствовался холодокъ, какъ отъ мятныхъ капель. Въ воображеніи его мелькали плечи и руки сиреневой барышни, виски и искренніе глаза блондинки въ черномъ, таліи, платья, броши. Онъ старался остановить свое вниманіе на этихъ образахъ, а они прыгали, расплывались, мигали. Когда на широкомъ черномъ фонѣ, который видитъ каждый человѣкъ, закрывая глаза, совсѣмъ исчезали эти образы, онъ начиналъ слышать торопливые шаги, шорохъ платья, звукъ поцѣлуя и — сильная, безпричинная радость овладѣвала имъ . . . Предаваясь этой радости, онъ слышалъ, какъ денщикъ вернулся и доложилъ, что пива нѣтъ. Лобытко страшно возмутился и опять зашагалъ.

— Ну, не идіотъ ли? — говорилъ онъ, останавливаясь то передъ Рябовичемъ, то передъ Мерзляковымъ. — Какимъ надо быть болваномъ и дуракомъ, чтобы не найти пива! А? Ну, не каналья ли?

— Конечно, здѣсь нельзя найти пива, — сказалъ Мерзляковъ, не отрывая глазъ отъ «Вѣстника Европы».

— Да? Вы такъ думаете? — приставалъ Лобытко. — Господи, Боже мой, забросьте меня на луну, такъ я сейчасъ же найду вамъ и пива, и женщинъ! Вотъ пойду сейчасъ и найду . . . Назовите меня подлецомъ, если не найду!

Онъ долго одѣвался и натягивалъ большіе сапоги, потомъ молча выкурилъ папироску и пошелъ.

— Раббекъ, Граббекъ, Лаббекъ, — забормоталъ онъ, останавливаясь въ сѣняхъ. — Не хочется идти одному, чортъ возьми. Рябовичъ, не хотите ли променажъ сдѣлать? А?

Не получивъ отвѣта, онъ вернулся, медленно раздѣлся и легъ. Мерзляковъ вздохнулъ, сунулъ въ сторону «Вѣстникъ Европы» и потушилъ свѣчу.

— Н-да-съ . . . — пробормоталъ Лобытко, закуривая въ потемкахъ папиросу.

Рябовичъ укрылся съ головой и, свернувшись калачикомъ, сталъ собирать въ воображеніи мелькающіе образы и соединять ихъ въ одно цѣлое. Но у него ничего не получилось. Скоро онъ уснулъ и послѣдней его мыслью было то, что кто-то обласкалъ и обрадовалъ его, что въ его жизни совершилось что-то необыкновенное, глупое, но чрезвычайно хорошее и радостное. Эта мысль не оставляла его и во снѣ.

Когда онъ проснулся, ощущенія масла на шеѣ и мятнаго холодка около губъ ужъ не было, но радость по-вчерашнему волной ходила въ груди. Онъ съ восторгомъ поглядѣлъ на оконныя рамы, позолоченныя восходящимъ солнцемъ, и прислушался къ движенію, происходившему на улицѣ. У самыхъ оконъ громко разговаривали. Батарейный командиръ Рябовича, Лебедецкій, только-что догнавшій бригаду, очень громко, отъ непривычки говорить тихо, бесѣдовалъ со своимъ фельдфебелемъ.

— А еще что? — кричалъ командиръ.

— При вчерашней перековкѣ, ваше высокоблагородіе, Голубчика заковали. Фельдшеръ приложилъ глины съ уксусомъ. Ведутъ теперь въ поводу сторонкой. А также, ваше высокоблагородіе, вчерась мастеровой Артемьевъ напился, и поручикъ велѣли посадить его на передокъ запасного лафета.

Фельдфебель доложилъ еще, что Карповъ забылъ новые шнуры къ трубамъ и колья къ палаткамъ, и что гг. офицеры вчерашній вечеръ изволили быть въ гостяхъ у генерала фонъ-Раббека. Среди разговора въ окнѣ показалась рыжебородая голова Лебедецкаго. Онъ пощурилъ близорукіе глаза на сонныя физіономіи офицеровъ и поздоровался.

— Все благополучно? — спросилъ онъ.

— Коренная подсѣдельная набила себѣ холку, — отвѣтилъ Лобытко, зѣвая: — новымъ хомутомъ.

Командиръ вздохнулъ, подумалъ и сказалъ громко:

— А я еще думаю къ Александрѣ Евграфовнѣ съѣздить. Надо ее провѣдать. Ну, прощайте. Къ вечеру я васъ догоню.

Черезъ четверть часа бригада тронулась въ путь. Когда она двигалась по дорогѣ мимо господскихъ амбаровъ, Рябовичъ поглядѣлъ вправо на домъ. Окна были закрыты жалюзи. Очевидно, въ домѣ всѣ еще спали. Спала и та, которая вчера цѣловала Рябовича. Онъ захотѣлъ вообразить ее спящею. Открытое настежь окно спальни, зеленыя вѣтки, заглядывающія въ это окно, утреннюю свѣжесть, запахъ тополя, сирени и розъ, кровать, стулъ и на немъ платье, которое вчера шуршало, туфельки,

часики на столѣ — все это нарисовалъ онъ себѣ ясно и отчетливо, но черты лица, милая сонная улыбка, именно, то что важно и характерно, ускользало отъ его воображенія, какъ ртуть изъ-подъ пальца. Проѣхавъ полверсты, онъ оглянулся назадъ: желтая церковь, домъ, рѣка и садъ были залиты свѣтомъ; рѣка со своими ярко-зелеными берегами, отражая въ себѣ голубое небо и кое-гдѣ серебрясь на солнцѣ, была очень красива. Рябовичъ взглянулъ въ послѣдній разъ на Мѣстечки, и ему стало такъ грустно, какъ будто онъ разставался съ чѣмъ-то очень близкимъ и роднымъ.

А на пути передъ глазами лежали однѣ только давно знакомыя, неинтересныя картины . . . Направо и налѣво поля молодой ржи и гречихи съ прыгающими грачами; взглянешь впередъ — видишь пыль и затылки, оглянешься назадъ — видишь ту же пыль и лица . . . Впереди всѣхъ шагаютъ четыре человѣка съ шашками — это авангардъ. За ними толпа пѣсельниковъ, а за пѣсельниками трубачи верхами. Авангардъ и пѣсельники, какъ факельщики въ похоронной процессіи, то и дѣло забываютъ объ уставномъ разстояніи и заходятъ далеко впередъ . . . Рябовичъ находится у перваго орудія пятой батареи. Ему видны всѣ четыре батареи, идущія впереди его. Для человѣка невоеннаго эта длинная, тяжелая вереница, какою представляется движущаяся бригада, кажется мудреной и мало понятной кашей; непонятно, почему около одного орудія столько людей и почему его везутъ столько лошадей, опутанныхъ странной

сруей, точно оно и въ самомъ дѣлѣ такъ страшно и тяжело. Для Рябовича же все понятно, а потому крайне неинтересно. Онъ давно уже знаетъ, для чего впереди каждой батареи рядомъ съ офицеромъ ѣдетъ солидный фейерверкеръ и почему онъ называется уноснымъ; вслѣдъ за спиной этого фейерверкера видны ѣздовые перваго, потомъ средняго выноса; Рябовичъ знаетъ, что лѣвыя лошади, на которыхъ они сидятъ, называются подсѣдельными, а правыя подручными — это очень неинтересно. За ѣздовымъ слѣдуютъ двѣ коренныя лошади. На одной изъ нихъ сидитъ ѣздовой со вчерашней пылью на спинѣ и съ неуклюжей, очень смѣшной деревяшкой на правой ногѣ; Рябовичъ знаетъ назначеніе этой деревяшки, и она не кажется ему смѣшною. Ѣздовые, всѣ, сколько ихъ есть, машинально взмахиваютъ нагайками и изрѣдка покрикиваютъ. Само орудіе некрасиво. На передкѣ лежали мѣшки съ овсомъ, прикрытые брезентомъ, а орудіе все завѣшано чайниками, солдатскими сумками, мѣшочками и имѣетъ видъ маленькаго безвреднаго животнаго, которое неизвѣстно для чего окружили люди и лошади. По бокамъ его, съ подвѣтреной стороны, размахивая руками, шагаютъ шесть человѣкъ прислуги. За орудіемъ опять начинаются новые уносные, ѣздовые, коренные, а за ними тянется новое орудіе, такое же некрасивое и невнушительное, какъ и первое. За вторымъ слѣдуетъ третье, четвертое; около четвертаго офицеръ и т. д. Всѣхъ батарей въ бригадѣ шесть, а въ каждой батареѣ по четыре орудія. Вереница тянется на

полверсты. Заканчивается она обозомъ, около котораго задумчиво, понуривъ свою длинноухую голову, шагаетъ въ высшей степени симпатичная рожа — оселъ Магаръ, вывезенный однимъ батарейнымъ командиромъ изъ Турціи.

Рябовичъ равнодушно глядѣлъ впередъ и назадъ, на затылки и на лица; въ другое время онъ задремалъ бы, но теперь онъ весь погрузился въ свои новыя, пріятныя мысли. Сначала, когда бригада только-что двинулась въ путь, онъ хотѣлъ убѣдить себя, что исторія съ поцѣлуемъ можетъ быть интересна только какъ маленькое, таинственное приключеніе, что по существу она ничтожна и думать о ней серьезно, по меньшей мѣрѣ, глупо; но скоро онъ махнулъ на логику рукой и отдался мечтамъ . . . То онъ воображалъ себя въ гостиной у Раббека, рядомъ съ дѣвушкой, похожей на сиреневую барышню и на блондинку въ черномъ; то закрывалъ глаза и видѣлъ себя съ другою, совсѣмъ незнакомою дѣвушкою съ очень неопредѣленными чертами лица; мысленно онъ говорилъ, ласкалъ, склонялся къ плечу, представлялъ себѣ войну и разлуку, потомъ встрѣчу, ужинъ съ женой, дѣтей ...

— Къ валькамъ! — раздавалась команда всякій разъ при спускѣ съ горы.

Онъ тоже кричалъ «къ валькамъ!» и боялся чтобы этотъ крикъ не порвалъ его мечты и не вызвалъ бы его къ дѣйствительности . . .

Проѣзжая мимо какого-то помѣщичьяго имѣнія, Рябовичъ поглядѣлъ черезъ палисадникъ въ садъ. На глаза ему попалась длинная, прямая, какъ

линейка, аллея, посыпанная желтымъ пескомъ и обсаженная молодыми березками . . . Съ жадностью размечтавшагося человѣка онъ представилъ себѣ маленькія женскія ноги, идущія по желтому песку, и совсѣмъ неожиданно въ его воображеніи ясно вырисовалась та, которая цѣловала его и которую онъ сумѣлъ представить себѣ вчера за ужиномъ. Этотъ образъ остановился въ его мозгу и ужъ не оставлялъ его.

Въ полдень, сзади, около обоза, раздался крикъ:

— Смирно! Глаза налѣво! Гг. офицеры!

Въ коляскѣ, на парѣ бѣлыхъ лошадей, прокатилъ бригадный генералъ. Онъ остановился около второй батареи и закричалъ что-то такое, чего никто не понялъ. Къ нему поскакали нѣсколько офицеровъ, въ томъ числѣ и Рябовичъ.

— Ну, какъ? Что? — спросилъ генералъ, моргая красными глазами. — Есть больные?

Получивъ отвѣты, генералъ, маленькій и тощій, пожевалъ, подумалъ и сказалъ, обращаясь къ одному изъ офицеровъ:

— У васъ коренной ѣздовой третьяго орудія снялъ наколѣнникъ и повѣсилъ его, каналья, на передокъ. Взыщите съ него.

Онъ поднялъ глаза на Рябовича и продолжалъ:

— А у васъ, кажется, нашильники слишкомъ длинны . . .

Сдѣлавъ еще нѣсколько скучныхъ замѣчаній, генералъ поглядѣлъ на Лобытко и усмѣхнулся.

— А у васъ, поручикъ Лобытко, сегодня очень грустный видъ, — сказалъ онъ. — По Лопуховой

скучаете? А? Господа, онъ по Лопуховой соскучился!

Лопухова была очень полная и очень высокая дама, давно уже перевалившая за сорокъ. Генералъ, питавшій пристрастіе къ крупнымъ особамъ, какого бы возраста онѣ ни были, подозрѣвалъ въ этомъ пристрастіи и своихъ офицеровъ. Офицеры почтительно улыбнулись. Бригадный, довольный тѣмъ, что сказалъ что-то очень смѣшное и ядовитое, громко захохоталъ, коснулся кучерской спины и сдѣлалъ подъ козырекъ. Коляска покатила дальше . . .

«Все, о чемъ я теперь мечтаю и что мнѣ теперь кажется невозможнымъ и неземнымъ, въ сущности очень обыкновенно, — думалъ Рябовичъ, глядя на облака пыли, бѣжавшія за генеральской коляской. — Все это очень обыкновенно и переживается всѣми . . . Напримѣръ, этотъ генералъ въ свое время любилъ, теперь женатъ, имѣетъ дѣтей. Капитанъ Вахтеръ тоже женатъ и любимъ, хотя у него очень некрасивый красный затылокъ и нѣтъ таліи . . . Сальмановъ грубъ и слишкомъ татаринъ, но у него былъ романъ, кончившійся женитьбой . . . Я такой же, какъ и всѣ, и переживу рано или поздно то же самое, что и всѣ . . .»

И мысль, что онъ обыкновенный человѣкъ и что жизнь его обыкновенна, обрадовала и подбодрила его. Онъ уже смѣло, какъ хотѣлъ, рисовалъ *ее* и свое счастье и ничѣмъ не стѣснялъ своего воображенія . . .

Когда вечеромъ бригада прибыла къ мѣсту и офицеры отдыхали въ палаткахъ, Рябовичъ,

Мерзляковъ и Лобытко сидѣли вокругъ сундука и ужинали. Мерзляковъ не спѣша ѣлъ и, медленно жуя, читалъ «Вѣстникъ Европы», который держалъ на колѣняхъ. Лобытко безъ умолку говорилъ и подливалъ въ стаканъ пиво, а Рябовичъ, у котораго отъ цѣлодневныхъ мечтаній стоялъ туманъ въ головѣ, молчалъ и пилъ. Послѣ трехъ стакановъ онъ охмелѣлъ, ослабѣлъ и ему неудержимо захотѣлось подѣлиться съ товарищами своимъ новымъ ощущеніемъ.

— Странный случился со мной случай у этихъ Раббековъ . . . — началъ онъ, стараясь придать своему голосу равнодушный и насмѣшливый тонъ. — Пошелъ я, знаете ли, въ билліардную . . .

Онъ сталъ разсказывать очень подробно исторію съ поцѣлуемъ и черезъ минуту умолкъ . . . Въ эту минуту онъ разсказалъ все, и его страшно удивило, что для разсказа понадобилось такъ мало времени. Ему казалось, что о поцѣлуѣ можно разсказывать до самаго утра. Выслушавъ его, Лобытко, много лгавшій, а потому никому не вѣрившій, недовѣрчиво посмотрѣлъ на него и усмѣхнулся. Мерзляковъ пошевелилъ бровями и покойно, не отрывая глазъ отъ «Вѣстника Европы», сказалъ:

— Богъ знаетъ что! . . Бросается на шею, не окликнувъ . . . Должно-быть, психопатка какая-нибудь.

— Да, должно-быть, психопатка . . . — согласился Рябовичъ.

— Подобный же случай былъ однажды со мной . . . — сказалъ Лобытко, дѣлая испуганные

глаза. — Ѣду я въ прошломъ году въ Ковно... Беру билетъ II класса... Вагонъ биткомъ набитъ и спать невозможно. Даю кондуктору полтину... Тотъ беретъ мой багажъ и ведетъ меня въ купэ... Ложусь и укрываюсь одѣяломъ... Темно, понимаете ли. Вдругъ слышу, кто-то трогаетъ меня за плечо и дышитъ мнѣ на лицо. Я этакъ сдѣлалъ движеніе рукой и чувствую чей-то локоть... Открываю глаза и, можете себѣ представить, — женщина! Черные глаза, губы красныя, какъ хорошая семга, ноздри дышатъ страстью, грудь — буфера.

— Позвольте, — перебилъ покойно Мерзляковъ: — насчетъ груди я понимаю, но какъ вы могли увидѣть губы, если было темно?

Лобытко сталъ изворачиваться и смѣяться надъ несообразительностью Мерзлякова. Это покоробило Рябовича. Онъ отошелъ отъ сундука, легъ и далъ себѣ слово никогда не откровенничать.

Наступила лагерная жизнь... Потекли дни, очень похожіе другъ на друга. Во всѣ эти дни Рябовичъ чувствовалъ, мыслилъ и держалъ себя, какъ влюбленный. Каждое утро, когда денщикъ подавалъ ему умываться, онъ, обливая голову холодной водой, всякій разъ вспоминалъ, что въ его жизни есть что-то хорошее и теплое.

Вечерами, когда товарищи начинали разговоръ о любви и о женщинахъ, онъ прислушивался, подходилъ ближе и принималъ такое выраженіе, какое бываетъ на лицахъ солдатъ, когда они слушаютъ разсказъ о сраженіи, въ которомъ сами

участвовали. А въ тѣ вечера, когда подгулявшее оберъ-офицерство, съ сетеромъ-Лобытко во главѣ, дѣлало донъ-жуанскіе набѣги на «слободку», Рябовичъ, принимавшій участіе въ набѣгахъ, всякій разъ бывалъ грустенъ, чувствовалъ себя глубоко виноватымъ и мысленно просилъ у *нея* прощенія . . Въ часы бездѣлья или въ безсонныя ночи, когда ему приходила охота вспоминать дѣтство, отца, мать, вообще родное и близкое, онъ непремѣнно вспоминалъ и Мѣстечки, странную лошадь, Раббека, его жену, похожую на императрицу Евгенію, темную комнату, яркую щель въ двери . . .

31-го августа онъ возвращался изъ лагеря, но уже не со всей бригадой, а съ двумя батареями. Всю дорогу онъ мечталъ и волновался, точно ѣхалъ на родину. Ему страстно хотѣлось опять увидѣть странную лошадь, церковь, неискреннюю семью Раббековъ, темную комнату; «внутренній голосъ», такъ часто обманывающій влюбленныхъ, шепталъ ему почему-то, что онъ непремѣнно увидитъ ее . . . И его мучили вопросы: какъ онъ встрѣтится съ ней? о чемъ будетъ съ ней говорить? не забыла ли она о поцѣлуѣ? На худой конецъ, думалъ онъ, если бы даже она не встрѣтилась ему, то для него было бы пріятно уже одно то, что онъ пройдется по темной комнатѣ и вспомнитъ . . .

Къ вечеру на горизонтѣ показались знакомая церковь и бѣлые амбары. У Рябовича забилось сердце . . . Онъ не слушалъ офицера, ѣхавшаго рядомъ и что-то говорившаго ему, про все забылъ и съ жадностью всматривался въ блестѣвшую

вдали рѣку, въ крышу дома, въ голубятню, надъ которой кружились голуби, освѣщенные заходившимъ солнцемъ.

Подъѣзжая къ церкви и потомъ выслушивая квартирьера, онъ ждалъ каждую секунду, что изъ-за ограды покажется верховой и пригласитъ офицеровъ къ чаю, но . . . докладъ квартирьеровъ кончился, офицеры спѣшились и побрели въ деревню, а верховой не показывался . . .

«Сейчасъ Раббекъ узнаетъ отъ мужиковъ, что мы пріѣхали, и пришлетъ за нами», — думалъ Рябовичъ, входя въ избу и не понимая, зачѣмъ это товарищъ зажигаетъ свѣчу и зачѣмъ денщики спѣшатъ ставить самовары . . .

Тяжелое безпокойство овладѣло имъ. Онъ легъ, потомъ всталъ и поглядѣлъ въ окно, не ѣдетъ ли верховой? Но верхового не было. Онъ опять легъ, черезъ полчаса всталъ и, не выдержавъ безпокойства, вышелъ на улицу и зашагалъ къ церкви. На площади, около ограды, было темно и пустынно . . . Какіе-то три солдата стояли рядомъ у самаго спуска и молчали. Увидѣвъ Рябовича, они встрепенулись и отдали честь. Онъ откозырялъ имъ въ отвѣтъ и сталъ спускаться внизъ по знакомой тропинкѣ.

На томъ берегу все небо было залито багровой краской: восходила луна; какія-то двѣ бабы, громко разговаривая, ходили по огороду и рвали капустные листья; за огородами темнѣло нѣсколько избъ . . . А на этомъ берегу было все то же, что и въ маѣ: тропинка, кусты, вербы, нависшія надъ

водой . . . только не слышно было храбраго соловья, да не пахло тополемъ и молодой травой.

Дойдя до сада, Рябовичъ заглянулъ въ калитку. Въ саду было темно и тихо . . . Видны были только бѣлые стволы ближайшихъ березъ, да кусочекъ аллеи, все же остальное мѣшалось въ черную массу. Рябовичъ жадно вслушивался и всматривался, но, простоявъ съ четверть часа и не дождавшись ни звука, ни огонька, поплелся назадъ . . .

Онъ подошелъ къ рѣкѣ. Передъ нимъ бѣлѣли генеральская купальня и простыни, висѣвшія на перилахъ мостика . . . Онъ взошелъ на мостикъ, постоялъ и безъ всякой надобности потрогалъ простыню. Простыня оказалась шаршавой и холодной. Онъ поглядѣлъ внизъ на воду . . . Рѣка бѣжала быстро и едва слышно журчала около сваенъ купальни. Красная луна отражалась у лѣваго берега; маленькія волны бѣжали по ея отраженію, растягивали его, разрывали на части и, казалось, хотѣли унести . . .

«Какъ глупо! Какъ глупо! — думалъ Рябовичъ, глядя на бѣгущую воду. — Какъ все это не умно!»

Теперь, когда онъ ничего не ждалъ, исторія съ поцѣлуемъ, его нетерпѣніе, неясныя надежды и разочарованіе представлялись ему въ ясномъ свѣтѣ. Ему ужъ не казалось страннымъ, что онъ не дождался генеральскаго верхового и что никогда не увидитъ той, которая случайно поцѣловала его вмѣсто другого; напротивъ, было бы странно, если бы онъ увидѣлъ ее . . .

Вода бѣжала неизвѣстно куда и зачѣмъ. Бѣжала она такимъ же образомъ и въ маѣ; изъ рѣчки въ маѣ мѣсяцѣ она влилась въ большую рѣку, изъ рѣки въ море, потомъ испарилась, обратилась въ дождь и, быть-можетъ, она, та же самая вода, опять бѣжитъ теперь передъ глазами Рябовича . . . Къ чему? Зачѣмъ?

И весь міръ, вся жизнь показались Рябовичу непонятной, безцѣльной шуткой . . . А отведя глаза отъ воды и взглянувъ на небо, онъ опять вспомнилъ, какъ судьба въ лицѣ незнакомой женщины нечаянно обласкала его, вспомнилъ свои лѣтніе мечты и образы, и его жизнь показалась ему необыкновенно скудной, убогой и безцвѣтной . . .

Когда онъ вернулся къ себѣ въ избу, то не засталъ ни одного товарища. Денщикъ доложилъ ему, что всѣ они ушли къ «генералу Фонтрябкину», прославшему за ними верхового! . . На мгновеніе въ груди Рябовича вспыхнула радость, но онъ тотчасъ же потушилъ ее, легъ въ постель и на зло своей судьбѣ, точно желая досадить ей, не пошелъ къ генералу.

ПАССАЖИРЪ I-го КЛАССА

Пассажиръ перваго класса, только-что пообѣдавшій на вокзалѣ и слегка охмелѣвшій, разлегся на бархатномъ диванѣ, сладко потянулся и задремалъ. Подремавъ не больше пяти минутъ, онъ поглядѣлъ масляными глазами на своего vis-à-vis, ухмыльнулся и сказалъ:

— Блаженныя памяти родитель мой любилъ, чтобы ему послѣ обѣда бабы пятки чесали. Я весь въ него, съ тою, однако, разницею, что всякій разъ послѣ обѣда чешу себѣ не пятки, а языкъ и мозги. Люблю, грѣшный человѣкъ, пустословить на сытый желудокъ. Разрѣшаете поболтать съ вами?

— Сдѣлайте одолженіе, — согласился vis-à-vis.

— Послѣ хорошаго обѣда для меня достаточно самаго ничтожнаго повода, чтобы въ голову полѣзли чертовски крупныя мысли. Напримѣръ-съ, сейчасъ мы съ вами видѣли около буфета двухъ молодыхъ людей, и вы слышали, какъ одинъ изъ нихъ поздравлялъ другого съ извѣстностью. «Поздравляю, вы, говоритъ, уже извѣстность и начинаете завоевывать славу». Очевидно, актеры или микроскопическіе газетчики. Но не въ нихъ дѣло. Меня, сударь, занимаетъ теперь вопросъ, что собственно нужно разумѣть подъ словомъ *слава* или *извѣст-*

ность? Какъ по-вашему-съ? Пушкинъ называлъ славу яркой заплатой на рубищѣ, всѣ мы понимаемъ ее по-пушкински, то-есть болѣе или менѣе субъективно, но никто еще не далъ яснаго, логическаго опредѣленія этому слову. Дорого бы я далъ за такое опредѣленіе!

— На что оно вамъ такъ понадобилось?

— Видите ли, знай мы, что такое слава, намъ, быть-можетъ, были бы извѣстны и способы ея достиженія, — сказалъ пассажиръ перваго класса, подумавъ. — Надо вамъ замѣтить, сударь, что когда я былъ помоложе, я всѣми фибрами души моей стремился къ извѣстности. Популярность была моимъ, такъ сказать, сумасшествіемъ. Для нея я учился, работалъ, ночей не спалъ, куска не доѣдалъ и здоровье потерялъ. И кажется, насколько я могу судить безпристрастно, у меня были всѣ данныя къ ея достиженію. Во-первыхъ-съ, по профессіи я инженеръ. Пока живу, я построилъ на Руси десятка два великолѣпныхъ мостовъ, соорудилъ въ трехъ городахъ водопроводы, работалъ въ Россіи, въ Англіи, въ Бельгіи . . . Во-вторыхъ, я написалъ много спеціальныхъ статей по своей части. Въ-третьихъ, сударь мой, я съ самаго дѣтства былъ подверженъ слабости къ химіи; занимаясь на досугѣ этой наукой, я нашелъ способы добыванія нѣкоторыхъ органическихъ кислотъ, такъ что имя мое вы найдете во всѣхъ заграничныхъ учебникахъ химіи. Все время я находился на службѣ, дослужился до чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника и формуляръ имѣю не замаранный. Не стану утруждать

вашего вниманія перечисленіемъ своихъ заслугъ и работъ, скажу только, что я сдѣлалъ гораздо больше, чѣмъ иной извѣстный. И что же? Вотъ я уже старъ, околѣвать собираюсь, можно сказать, а извѣстенъ я столь же, какъ вонъ та черная собака, что бѣжитъ по насыпи.

— Почемъ знать? Можетъ-быть, вы и извѣстны.

— Гм!.. А вотъ мы сейчасъ попробуемъ... Скажите, вы слыхали когда-нибудь фамилію Крикунова?

Vis-à-vis поднялъ глаза къ потолку, подумалъ и засмѣялся.

— Нѣтъ, не слыхалъ... — сказалъ онъ.

— Это моя фамилія. Вы человѣкъ интеллигентный и пожилой, ни разу не слыхали про меня — доказательство убѣдительное! Очевидно, добиваясь извѣстности, я дѣлалъ совсѣмъ не то, что слѣдовало. Я не зналъ настоящихъ способовъ и, желая схватить славу за хвостъ, зашелъ не съ той стороны.

— Какіе же это настоящіе способы?

— А чортъ ихъ знаетъ! Вы скажете: талантъ? геніальность? недюжинность? Вовсе нѣтъ, сударь мой... Параллельно со мной жили и дѣлали свою карьеру люди сравнительно со мной пустые, ничтожные и даже дрянные. Работали они въ тысячу разъ меньше меня, изъ кожи не лѣзли, талантами не блистали и извѣстности не добивались, а поглядите на нихъ! Ихъ фамиліи то и дѣло попадаются въ газетахъ и въ разговорахъ! Если вамъ не надоѣло слушать, то я поясню примѣромъ-съ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, я дѣлалъ въ городѣ К. мостъ. Надо вамъ сказать, скучища въ этомъ паршивомъ К. была страшная. Если бы не женщины и не карты, то я съ ума бы, кажется, сошелъ. Ну-съ, дѣло прошлое, сошелся я тамъ, скуки ради, съ одной пѣвичкой. Чортъ ее знаетъ, всѣ приходили въ восторгъ отъ этой пѣвички, по-моему же, — какъ вамъ сказать? — это была обыкновенная, дюжинная натуришка, какихъ много. Дѣвчонка пустая, капризная, жадная, притомъ еще и дура. Она много ѣла, много пила, спала до пяти часовъ вечера — и больше, кажется, ничего. Ее считали кокоткой, — это была ея профессія, — когда же хотѣли выражаться о ней литературно, то называли ее актрисой и пѣвицей. Прежде я былъ завзятымъ театраломъ, а потому эта мошенническая игра званіемъ актрисы чортъ знаетъ какъ возмущала меня! Называться актрисой или даже пѣвицей моя пѣвичка не имѣла ни малѣйшаго права. Это было существо, совершенно безталанное, безчувственное, можно даже сказать, жалкое. На сколько я понимаю, пѣла она отвратительно, вся же прелесть ея «искусства» заключалась въ томъ, что она дрыгала, когда нужно было, ногой и не конфузилась, когда къ ней входили въ уборную. Водевили выбирала она обыкновенно переводные, съ пѣніемъ, и такіе, гдѣ можно было щегольнуть въ мужскомъ костюмѣ въ обтяжку. Однимъ словомъ — тьфу! Ну-съ, прошу вниманія. Какъ теперь помню, происходило у насъ торжественное открытіе движенія по вновь устроенному мосту.

Былъ молебенъ, рѣчи, телеграммы и прочее. Я, знаете ли, мыкался около своего дѣтища и все боялся, какъ бы сердце у меня не лопнуло отъ авторскаго волненія. Дѣло прошлое и скромничать нечего, а потому скажу вамъ, что мостъ получился у меня великолѣпный! Не мостъ, а картина, одинъ восторгъ! И извольте-ка не волноваться, когда на открытіи весь городъ. «Ну, думалъ, теперь публика на меня всѣ глаза проглядитъ. Куда бы спрятаться?» Но напрасно я, сударь мой, безпокоился — увы! На меня, кромѣ офиціальныхъ лицъ, никто не обратилъ ни малѣйшаго вниманія. Стоятъ толпой на берегу, глядятъ, какъ бараны, на мостъ, а до того, кто строилъ этотъ мостъ, имъ и дѣла нѣтъ. И, чортъ бы ихъ дралъ, съ той поры, кстати сказать, возненавидѣлъ я эту нашу почтеннѣйшую публику. Но будемъ продолжать. Вдругъ публика заволновалась: шу-шу-шу . . . Лица заулыбались, плечи задвигались. «Меня, должно-быть, увидѣли», — подумалъ я. Какъ же, держи карманъ! Смотрю, сквозь толпу пробирается моя пѣвичка, вслѣдъ за нею ватага шалопаевъ; въ тылъ всему этому шествію торопливо бѣгутъ взгляды толпы. Начался тысячеголосый шопотъ: «Это такая-то . . . Прелестна! Обворожительна!» Тутъ и меня замѣтили . . . Двое какихъ-то молокососовъ, — должно-быть, мѣстные любители сценическаго искусства, — поглядѣли на меня, переглянулись и зашептали: «Это ея любовникъ!» Какъ это вамъ понравится? А какая-то плюгавая фигура въ цилиндрѣ, съ давно небритой рожей, долго

переминалась около меня съ ноги на ногу, потомъ повернулась ко мнѣ со словами:

— Знаете, кто эта дама, что идетъ по тому берегу? Это такая-то . . . Голосъ у нея ниже всякой критики-съ, но владѣетъ она имъ въ совершенствѣ!..

— Не можете ли вы сказать мнѣ, — спросилъ я плюгавую фигуру: — кто строилъ этотъ мостъ?

— Право, не знаю! — отвѣчала фигура. — Инженеръ какой-то!

— А кто, — спрашиваю, — въ вашемъ К. соборъ строилъ?

— И этого не могу вамъ сказать.

Далѣе я спросилъ, кто въ К. считается самымъ лучшимъ педагогомъ, кто лучшій архитекторъ, и на всѣ мои вопросы плюгавая фигура отвѣтила незнаніемъ.

— А скажите, пожалуйста, — спросилъ я въ заключеніе: — съ кѣмъ живетъ эта пѣвица?

— Съ какимъ-то инженеромъ Крикуновымъ.

Ну, сударь мой, какъ вамъ это понравится? Но далѣе . . . Миннезенгеровъ и баяновъ теперь на бѣломъ свѣтѣ нѣтъ, и извѣстность дѣлается почти исключительно только газетами. На другой же день послѣ освященія моста, съ жадностью хватаю мѣстный «Вѣстникъ» и ищу въ немъ про свою особу. Долго бѣгаю глазами по всѣмъ четыремъ страницамъ и, наконецъ, — вотъ оно! ура! Начинаю читать: «Вчера, при отличной погодѣ и при громадномъ стеченіи народа, въ присутствіи его превосходительства господина начальника губерніи такого-то и прочихъ властей, происходило освященіе вновь

построеннаго моста и т. д.» Въ концѣ же: «На освященіи, блистая красотой, присутствовала, между прочимъ, либимица к—ой публики, наша талантливая артистка такая-то. Само собою разумѣется, что появленіе ея произвело сенсацію. Звѣзда была одѣта, и т. д.» Обо мнѣ же хоть бы одно слово! Хоть полсловечка! Какъ это ни мелко, но вѣрите ли, я даже заплакалъ тогда отъ злости!

Успокоилъ я себя на томъ, что провинція-де глупа, съ нея и требовать нечего, а что за извѣстностью нужно ѣхать въ умственные центры, въ столицы. Кстати въ тѣ поры въ Питерѣ лежала одна моя работка, поданная на конкурсъ. Приближался срокъ конкурса.

Простился я съ К. и поѣхалъ въ Питеръ. Отъ К. до Питера дорога длинная, и вотъ, чтобъ скучно не было, я взялъ отдѣльное купэ, ну . . . конечно, и пѣвичку. Ѣхали мы и всю дорогу ѣли, шампанское пили и — тру-ла-ла! Но вотъ мы пріѣзжаемъ въ умственный центръ. Пріѣхалъ я туда въ самый день конкурса и имѣлъ, сударь мой, удовольствіе праздновать побѣду: моя работа была удостоена первой преміи. Ура! На другой же день иду на Невскій и покупаю на семь гривенъ разныхъ газетъ. Спѣшу къ себѣ въ номеръ, ложусь на диванъ и, пересиливая дрожь, спѣшу читать. Пробѣгаю одну газетину — ничего! Пробѣгаю другую — ни Боже мой! Наконецъ, въ четвертой наскакиваю на такое извѣстіе: «Вчера съ курьерскимъ поѣздомъ прибыла въ Петербургъ извѣстная провинціальная артистка такая-то. Съ удоволь-

ствіемъ отмѣчаемъ, что южный климатъ благотворно подѣйствовалъ на нашу знакомку; ея прекрасная сценическая наружность . . .» — и не помню что дальше! Много ниже подъ этимъ извѣстіемъ самымъ мельчайшимъ петитомъ напечатано: «Вчера на такомъ-то конкурсѣ первой преміи удостоенъ инженеръ такой-то». Только! И вдобавокъ, еще мою фамилію переврали: вмѣсто Крикунова написали Киркуновъ. Вотъ вамъ и умственный центръ. Но это не все . . . Когда я черезъ мѣсяцъ уѣзжалъ изъ Питера, то всѣ газеты наперерывъ толковали о «нашей несравненной, божественной, высокоталантливой» и ужъ мою любовницу величали не по фамиліи, а по имени и отчеству . . .

Нѣсколько лѣтъ спустя, я былъ въ Москвѣ. Вызванъ былъ я туда собственноручнымъ письмомъ городского головы по дѣлу, о которомъ Москва со своими газетами кричитъ уже болѣе ста лѣтъ. Между дѣломъ я прочелъ тамъ въ одномъ изъ музеевъ пять публичныхъ лекцій съ благотворительною цѣлью. Кажется, достаточно, чтобы стать извѣстнымъ городу хотя на три дня, не правда ли? Но, увы! Обо мнѣ не обмолвилась словечкомъ ни одна московская газета. Про пожары, про оперетку, про спящихъ гласныхъ, про пьяныхъ купцовъ — про все есть, а о моемъ дѣлѣ, проектѣ, о лекціяхъ — ни гу-гу. А милая московская публика! Ѣду я на конкѣ . . . Вагонъ биткомъ набитъ: тутъ и дамы, и военные, и студенты, и курсистки — всякой твари по парѣ.

— Говорятъ, что дума вызвала инженера по такому-то дѣлу! — говорю я сосѣду такъ громко, чтобы весь вагонъ слышалъ. — Вы не знаете, какъ фамилія этого инженера?

Сосѣдъ отрицательно мотнулъ головой. Остальная публика поглядѣла на меня мелькомъ и во всѣхъ взглядахъ я прочелъ «не знаю».

— Говорятъ, кто-то читаетъ лекціи въ такомъ-то музеѣ! — пристаю я къ публикѣ, желая завязать разговоръ. — Говорятъ, интересно!

Никто даже головой не кивнулъ. Очевидно, не всѣ слышали про лекціи, а госпожи дамы не знали даже о существованіи музея. Это бы все еще ничего, но представьте вы, сударь мой, публика вдругъ вскакиваетъ и ломитъ къ окнамъ. Что такое? Въ чемъ дѣло?

— Глядите, глядите! — затолкалъ меня сосѣдъ. — Видите того брюнета, что садится на извозчика? Это извѣстный скороходъ Кингъ!

И весь вагонъ, захлебываясь, заговорилъ о скороходахъ, занимавшихъ тогда московскіе умы.

Много и другихъ примѣровъ я могъ бы привести вамъ, но, полагаю, и этихъ довольно. Теперь допустимъ, что я относительно себя заблуждаюсь, что я хвастунишка и бездарность, но, кромѣ себя, я могъ бы указать вамъ на множество своихъ современниковъ, людей замѣчательныхъ по талантамъ и трудолюбію, но умершихъ въ неизвѣстности. Всѣ эти русскіе мореплаватели, химики, физики, механики, сельскіе хозяева — популярны ли они? Извѣстны ли нашей образованной массѣ русскіе

художники, скульпторы, литературные люди? Иная старая литературная собака, рабочая и талантливая, тридцать три года обиваетъ редакціонные пороги, исписываетъ чортъ знаетъ сколько бумаги, разъ двадцать судится за диффамацію, а все-таки не шагаетъ дальше своего муравейника! Назовите мнѣ хоть одного корифея нашей литературы, который сталъ бы извѣстенъ раньше, чѣмъ не прошла по землѣ слава, что онъ убитъ на дуэли, сошелъ съ ума, пошелъ въ ссылку, не чисто играетъ въ карты!

Пассажиръ 1-го класса такъ увлекся, что выронилъ изо рта сигару и приподнялся.

— Да-съ, — продолжалъ онъ свирѣпо: — и въ параллель этимъ людямъ я приведу вамъ сотни всякаго рода пѣвичекъ, акробатовъ и шутовъ, извѣстныхъ даже грудным младенцамъ. Да-съ!

Скрипнула дверь, пахнулъ сквознякъ и въ вагонъ вошла личность угрюмаго вида, въ крылаткѣ, въ цилиндрѣ и синихъ очкахъ. Личность оглядѣла мѣста, нахмурилась и прошла дальше.

— Знаете, кто это? — послышался робкій шопотъ изъ далекаго угла вагона. — Это N. N., извѣстный тульскій шулеръ, привлеченный къ суду по дѣлу У—го банка.

— Вотъ вамъ! — засмѣялся пассажиръ 1-го класса. — Тульскаго шулера знаетъ, а спросите его, знаетъ ли онъ Семирадскаго, Чайковскаго, или философа Соловьева, такъ онъ вамъ башкой замотаетъ . . . Свинство!

Прошло минуты три въ молчаніи.

— Позвольте васъ спросить, въ свою очередь, — робко закашлялъ vis-à-vis: — вамъ извѣстна фамилія Пушкова?

— Пушкова? Гм!.. Пушкова... Нѣтъ, не знаю!

— Это моя фамилія... — проговорилъ vis-à-vis, конфузясь. — Стало-быть, не знаете? А я уже 35 лѣтъ состою профессоромъ одного изъ русскихъ университетовъ... членъ академіи наукъ-съ... неоднократно печатался...

Пассажиръ 1-го класса и vis-à-vis переглянулись и принялись хохотать.

ВОРЫ

Фельдшеръ Ергуновъ, человѣкъ пустой, извѣстный въ уѣздѣ за большого хвастуна и пьяницу, какъ-то въ одинъ изъ святыхъ вечеровъ возвращался изъ мѣстечка Рѣпина, куда ѣздилъ за покупками для больницы. Чтобы онъ не опоздалъ и пораньше вернулся домой, докторъ далъ ему самую лучшую свою лошадь.

Сначала погода стояла ничего себѣ, тихая, но часамъ къ восьми поднялась сильная метель, и когда до дому оставалось всего верстъ семь, фельдшеръ совершенно сбился съ пути . . .

Править лошадью онъ не умѣлъ, дороги не зналъ и ѣхалъ на авось, куда глаза глядятъ, надѣясь, что сама лошадь вывезетъ. Прошло такъ часа два, лошадь замучилась, самъ онъ озябъ, и ужъ ему казалось, что онъ ѣдетъ не домой, а назадъ въ Рѣпино; но вотъ сквозь шумъ метели послышался глухой собачій лай, и впереди показалось красное, мутное пятно, мало-по-малу обозначились высокія ворота и длинный заборъ, на которомъ остріями вверхъ торчали гвозди, потомъ изъ-за забора вытянулся кривой колодезный журавль. Вѣтеръ прогналъ передъ глазами снѣговую мглу, и тамъ, гдѣ было красное пятно, выросъ небольшой, призе-

мистый домикъ съ высокой камышевой крышей. Изъ трехъ окошекъ одно, завѣшанное изнутри чѣмъ-то краснымъ, было освѣщено.

Что это былъ за дворъ? Фельдшеръ вспомнилъ, что вправо отъ дороги, на седьмой или шестой верстѣ отъ больницы долженъ былъ находиться постоялый дворъ Андрея Чирикова. Вспомнилъ онъ также, что послѣ этого Чирикова, убитаго недавно ямщиками, осталась старуха и дочка Любка, которая года два назадъ пріѣзжала въ больницу лѣчиться. Дворъ пользовался дурной славой, и заѣхать въ него поздно вечеромъ, да еще съ чужою лошадью, было не безопасно. Но дѣлать было нечего. Фельдшеръ нащупалъ у себя въ сумкѣ револьверъ и, строго кашлянувъ, постучалъ кнутовищемъ по оконной рамѣ.

— Эй, кто здѣсь есть? — крикнулъ онъ. — Старушка Божья, пусти-ка погрѣться!

Черная собака съ хриплымъ лаемъ, кубаремъ покатилась подъ ноги лошади, потомъ другая бѣлая, потомъ еще черная — этакъ штукъ десять! Фельдшеръ высмотрѣлъ самую крупную, размахнулся и изо-всей силы хлестнулъ по ней кнутомъ. Небольшой песикъ на высокихъ ногахъ поднялъ вверхъ острую морду и завылъ тонкимъ, пронзительнымъ голоскомъ.

Долго стоялъ фельдшеръ у окна и стучалъ. Но вотъ за заборомъ, около дома, на деревьяхъ зардѣлся иней, ворота заскрипѣли и показалась закутанная женская фигура съ фонаремъ въ рукахъ.

— Пусти, бабушка, погрѣться, — сказалъ фельдшеръ. — Ѣхалъ въ больницу и съ дороги сбился. Погода, не приведи Богъ. Ты не бойся, мы люди свои, бабушка.

— Свои всѣ дома, а чужихъ мы не звали, — сурово проговорила фигура. — И что стучать зря? Ворота не заперты.

Фельдшеръ въѣхалъ во дворъ и остановился у крыльца.

— Вели-ка, бабка, работнику, чтобъ лошадь мою убралъ, — сказалъ онъ.

— Я не бабка.

И въ самомъ дѣлѣ, это была не бабка. Когда она тушила фонарь, лицо ея освѣтилось, и фельдшеръ увидѣлъ черныя брови и узналъ Любку.

— Какіе теперь работники? — проговорила она, идя въ домъ. — Которые пьяные спятъ, а которые еще съ утра въ Рѣпино поуходили. Дѣло праздничное . . .

Привязывая подъ навѣсомъ свою лошадь, Ергуновъ услышалъ ржанье и разглядѣлъ въ потемкахъ еще чью-то лошадь и нащупалъ на ней казацкое сѣдло. Значитъ, въ домѣ кромѣ хозяекъ былъ и еще кто-то. На всякій случай фельдшеръ разсѣдлалъ свою лошадь и, идя въ домъ, захватилъ съ собой и покупки и сѣдло.

Въ первой комнатѣ, куда онъ вошелъ, было просторно, жарко натоплено и пахло недавно вымытыми полами. За столомъ подъ образами сидѣлъ невысокій, худощавый мужикъ лѣтъ сорока, съ небольшой русой бородкой и въ синей рубахѣ.

Это былъ Калашниковъ, отъявленный мошенникъ и конокрадъ, отецъ и дядя котораго держали въ Богалёвкѣ трактиръ и торговали, гдѣ придется, краденными лошадями. Въ больницѣ и онъ бывалъ не разъ, но пріѣзжалъ не лѣчиться, а потолковать съ докторомъ насчетъ лошадей: нѣтъ ли продажной и не пожелаетъ ли его высокоблагородіе господинъ докторъ промѣнять гнѣдую кобылку на буланаго меринка. Теперь голова у него была напомажена и въ ухѣ блестѣла серебряная серьга, и вообще видъ былъ праздничный. Нахмурясь и опустивъ нижнюю губу, онъ внимательно глядѣлъ въ большую, истрепанную книгу съ картинками. Растянувшись на полу около печки, лежалъ другой мужикъ; лицо его, плечи и грудь были покрыты полушубкомъ — должно-быть спалъ; около его новыхъ сапоговъ съ блестящими подковами темнѣли двѣ лужи отъ растаявшаго снѣга.

Увидѣвъ фельдшера, Калашниковъ поздоровался.

— Да, погода . . . — сказалъ Ергуновъ, потирая ладонями озябшія колѣна. — За шею снѣгу понабилось, весь я промокъ, это самое, какъ хлющъ. И револьверъ мой, кажется, того . . .

Онъ вынулъ револьверъ, оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ и положилъ опять въ сумку. Но револьверъ не произвелъ никакого впечатлѣнія: мужикъ продолжалъ глядѣть въ книгу.

— Да, погода . . . Съ дороги сбился и, если-бъ не здѣшнія собаки, то, кажется, смерть. Была бы исторія. А гдѣ же хозяйки?

— Старуха въ Рѣпино поѣхала, а дѣвка вечерять готовитъ . . . — отвѣтилъ Калашниковъ.

Наступило молчаніе. Фельдшеръ, дрожа и всхлипывая, дулъ на ладони и весь ежился, и дѣлалъ видъ, что онъ очень озябъ и замучился. Слышно было, какъ завывали на дворѣ не унимавшіяся собаки. Стало скучно.

— Ты самъ изъ Богалёвки, что ли? — спросилъ фельдшеръ строго у мужика.

— Да, изъ Богалёвки.

И отъ нечего дѣлать фельдшеръ сталъ думать объ этой Богалёвкѣ. Деревня большая и лежитъ она въ глубокомъ оврагѣ, такъ что, когда ѣдешь въ лунную ночь по большой дорогѣ и взглянешь внизъ, въ темный оврагъ, а потомъ вверхъ на небо, то кажется, что луна виситъ надъ бездонной пропастью и что тутъ конецъ свѣта. Дорога ведетъ внизъ крутая, извилистая и такая узкая, что когда ѣдешь въ Богалёвку на эпидемію или прививать оспу, то все время нужно кричать во все горло или свистать, а то иначе, если встрѣтишься съ телѣгой, то потомъ ужъ не разъѣдешься. Мужики богалёвскіе слывутъ за хорошихъ садоводовъ и конокрадовъ; сады у нихъ богатые: весною вся деревня тонетъ въ бѣлыхъ вишневыхъ цвѣтахъ, а лѣтомъ вишни продаются по три копейки за ведро. Заплати три копейки и рви. Бабы у мужиковъ красивыя и сытыя, и любятъ наряжаться, и даже въ будни ничего не дѣлаютъ, а все сидятъ на заваленкахъ и ищутъ въ головахъ другъ у друга.

Но вотъ послышались шаги. Въ комнату вошла Любка, дѣвушка лѣтъ двадцати, въ красномъ платьѣ и босая... Она искоса поглядѣла на фельдшера и раза два прошлась изъ угла въ уголъ. Ходила она не просто, а мелкими шажками, выпятивъ впередъ грудь; видимо, ей нравилось шлепать босыми ногами по недавно вымытому полу и разулась она нарочно для этого.

Калашниковъ чему-то усмѣхнулся и поманилъ ее къ себѣ пальцемъ. Она подошла къ столу, и онъ показалъ ей въ книгѣ на пророка Илію, который правилъ тройкою лошадей, несущихся къ небу. Любка облокотилась на столъ; коса ея перекинулась черезъ плечо, — длинная коса, рыжая, перевязанная на концѣ красной ленточкой, — и едва не коснулась пола. И она тоже усмѣхнулась.

— Отличная, замѣчательная картина! — сказалъ Калашниковъ. — Замѣчательная! — повторилъ онъ и сдѣлалъ руками такъ, какъ будто хотѣлъ вмѣсто Иліи забрать въ руки вожжи.

Въ печкѣ гудѣлъ вѣтеръ; что-то зарычало и пискнуло, точно большая собака задушила крысу.

— Ишь, нечистые расходились! — проговорила Любка.

— Это вѣтеръ, — сказалъ Калашниковъ; онъ помолчалъ, поднялъ глаза на фельдшера и спросилъ: — Какъ, по-вашему, по-ученому, Осипъ Васильичъ, есть на этомъ свѣтѣ черти, или нѣтъ?

— Какъ тебѣ, братецъ, сказать? — отвѣтилъ фельдшеръ и пожалъ однимъ плечомъ. — Ежели разсуждать по наукѣ, то, конечно, чертей нѣту,

потому что это предразсудокъ; а ежели разсуждать попросту, какъ вотъ мы сейчасъ съ тобой, то черти есть, короче говоря . . . Я въ своей жизни много испыталъ . . . Послѣ ученія я опредѣлился въ военные фельдшера въ драгунскій полкъ и былъ, конечно, на войнѣ, имѣю медаль и знакъ отличія «Краснаго Креста»,. а послѣ санъ-стефанскаго договора вернулся въ Россію и поступилъ въ земство. И по причинѣ такой громадной циркуляціи моей жизни, я, могу сказать, видѣлъ столько, что другому и во снѣ не снилось. Случалось и чертей видѣть, то-есть не то чтобы чертей съ рогами или хвостомъ — это однѣ глупости, а такъ, собственно говоря, какъ будто въ родѣ.

— Гдѣ? — спросилъ Калашниковъ.

— Въ разныхъ мѣстахъ. Нечего далеко ходить, лѣтошній годъ, не къ ночи онъ будь помянутъ, встрѣтилъ я его вотъ тутъ, почитай, у самаго двора. Ѣхалъ я, это самое, помню, въ Голышино, ѣхалъ оспу прививать. Извѣстно, какъ всегда, бѣговыя дрожки, ну, лошадь и необходимые причиндалы, да кромѣ того, часы при мнѣ и все прочее, такъ что ѣду и остерегаюсь, какъ бы неровенъ часъ не того . . . Мало ли всякихъ бродягъ. Подъѣзжаю я къ Змѣиной балочкѣ, будь она проклята, начинаю спускаться и вдругъ, это самое, идетъ кто-то такой. Волосы черные, глаза черные и все лицо словно отъ дыму закоптѣло . . . Подходитъ къ лошади и прямо беретъ за лѣвую вожжу: стой! Оглядѣлъ лошадь, потомъ, значитъ, меня, потомъ бросилъ вожжу и не говоря худого слова: «Ты куда ѣдешь?» А у

самого зубы оскалены, глаза злобные . . . Ахъ ты, думаю, шутъ этакій! «Ѣду, говорю, оспу прививать. А тебѣ какое дѣло?» Онъ и говоритъ: «Коли такъ, говоритъ, то привей и мнѣ оспу». Оголилъ руку и суетъ мнѣ ее подъ носъ. Конечно, не сталъ я съ нимъ разговаривать, взялъ и привилъ оспу, чтобъ отвязаться. Послѣ того гляжу на свой ланцетъ, а онъ весь заржавѣлъ.

Мужикъ, спавшій около печки, вдругъ заворочался и сбросилъ съ себя полушубокъ, и фельдшеръ, къ великому своему удивленію, увидѣлъ того самаго незнакомца, котораго встрѣтилъ когда-то на Змѣиной балочкѣ. Волосы, борода и глаза у этого мужика были черные, какъ сажа, лицо смуглое и вдобавокъ еще на правой щекѣ сидѣло черное пятнышко величиной съ чечевицу. Онъ насмѣшливо поглядѣлъ на фельдшера и сказалъ:

— За лѣвую вожжу бралъ — это было, а насчетъ оспы сбрехалъ, сударь. И разговору даже насчетъ оспы у насъ съ тобой не было.

Фельдшеръ смутился.

— Я не про тебя говорю, — сказалъ онъ. — Лежи, когда лежишь.

Смуглый мужикъ ни разу не былъ въ больницѣ и фельдшеръ не зналъ, кто онъ и откуда, и теперь, глядя на него, рѣшилъ, что это, должно-быть, цыганъ. Мужикъ всталъ и, потягиваясь, громко зѣвая, подошелъ къ Любкѣ и Калашникову, сѣлъ рядомъ и тоже сталъ глядѣть въ книгу. На его заспанномъ лицѣ показались умиленіе и зависть.

— Вотъ, Мерикъ, — сказала ему Любка: — приведи мнѣ такихъ коней, я на небо поѣду.

— На небо грѣшнымъ нельзя . . . — сказалъ Калашниковъ. — Это за святость.

Потомъ Любка собрала на столъ и принесла большой кусокъ свиного сала, соленыхъ огурцовъ, деревянную тарелку съ варенымъ мясомъ, порѣзаннымъ на мелкіе кусочки, потомъ сковороду, на которой шипѣла колбаса съ капустой. Появился на столѣ и граненый графинъ съ водкой, отъ которой, когда налили по рюмкѣ, по всей комнатѣ пошелъ духъ апельсинной корки.

Фельдшеру было досадно, что Калашниковъ и смуглый Мерикъ говорили между собой и не обращали на него никакого вниманія, точно его и въ комнатѣ не было. А ему хотѣлось поговорить съ ними, похвастать, выпить, наѣсться и, если можно, то и пошалить съ Любкой, которая, пока ужинали, разъ пять садилась около него и, словно нечаянно, трогала его своими красивыми плечами и поглаживала руками свои широкія бедра. Это была дѣвка здоровая, смѣшливая, вертлявая, непосѣда: то сядетъ, то встанетъ, а сидя поворачивается къ сосѣду то грудью, то спиной, какъ егоза, и непремѣнно зацѣпитъ локтемъ или колѣномъ.

И не нравилось также фельдшеру, что мужики выпили только по одной рюмкѣ и больше ужъ не пили, а одному ему пить было какъ-то неловко. Но онъ не выдержалъ и выпилъ другую рюмку, потомъ третью и съѣлъ всю колбасу. Чтобы мужики не

сторонились его, а приняли его въ свою компанію, онъ рѣшилъ польстить имъ.

— Молодцы у васъ въ Богалёвкѣ! — сказалъ онъ и покрутилъ головой.

— Насчетъ чего молодцы? — спросилъ Калашниковъ.

— Да вотъ, это самое, хоть насчетъ лошадей. Молодцы красть!

— Ну, нашелъ молодцовъ! Пьяницы только да воры.

— Было время, да прошло, — сказалъ Мерикъ послѣ нѣкотораго молчанія. — Только вотъ развѣ одинъ старый Филя у нихъ остался, да и тотъ слѣпой.

— Да, одинъ только Филя, — вздохнулъ Калашниковъ. — Ему, почитай, теперь годовъ семьдесятъ; одинъ глазъ нѣмцы-колонисты выкололи, а другимъ плохо видитъ. Бѣльмо. Прежде, бывало, завидитъ его становой и кричитъ: «Эй, ты, Шамиль!» и всѣ мужики такъ — Шамиль, да Шамиль, а теперь другого и званія ему нѣтъ, какъ кривой Филя. А молодчина былъ человѣкъ! Съ покойнымъ Андреемъ Григорьичемъ, съ Любашинымъ отцомъ, забрались разъ ночью подъ Рожново, — а тамъ конные полки въ ту пору стояли, — и угнали девять солдатскихъ лошадей, самыхъ какихъ получше, и часовыхъ не испугались, и утромъ же цыгану Афонькѣ всѣхъ лошадей за двадцать цѣлковыхъ продали. Да! А нынѣшній норовитъ угнать коня у пьянаго или соннаго, да Бога не побоится и съ пьянаго еще сапоги стащитъ,

а потомъ жмется, ѣдетъ съ той лошадью верстъ за двѣсти и потомъ торгуется на базарѣ, торгуется, какъ жидъ, пока его урядникъ не заберетъ, дурака. Не гулянье, а одна срамота! Плевый народишко, что говорить.

— А Меркъ? — спросила Любка.

— Меркъ не нашъ, — сказалъ Калашниковъ. — Онъ харьковскій, изъ Мижирича. А что молодчина, это вѣрно, грѣхъ пожалиться, хорошій человѣкъ.

Любка лукаво и радостно поглядѣла на Мерика и сказала:

— Да, не даромъ его добрые люди въ проруби купали.

— Какъ такъ? — спросилъ фельдшеръ.

— А такъ . . . — сказалъ Меркъ и усмѣхнулся. — Угналъ Филя у самойловскихъ арендателей трехъ лошадей, а они на меня подумали. Ихъ всѣхъ арендателей въ Самойловкѣ человѣкъ десять, а съ работниками и тридцать наберется, и все молоканы . . . Вотъ одинъ и говоритъ мнѣ на базарѣ: «Приходи, Меркъ, поглядѣть, мы съ ярмарки новыхъ лошадей пригнали». Мнѣ, извѣстно, любопытно, прихожу до нихъ, а они, сколько ихъ было, человѣкъ тридцать, скрутили мнѣ назадъ руки и повели на рѣку. Мы, говорятъ, тебѣ покажемъ лошадей. Прорубь одна была уже готовая, они рядомъ, этакъ на сажень, другую прорубили. Потомъ, значитъ, взяли веревку и надѣли мнѣ подъ мышки петлю, а къ другому концу привязали кривую палку, чтобъ, значитъ, сквозь обѣ проруби доставала. Ну, просунули палку и потянули. Я,

какъ былъ, въ шубѣ и въ сапогахъ — бултыхъ въ прорубь! а они стоятъ и меня попихиваютъ, кто ногой, а кто колуномъ, потомъ потащили подъ ледъ и вытащили въ другую прорубь.

Любка вздрогнула и вся сжалась.

— Сначала меня отъ холода въ жаръ бросило, — продолжалъ Мерикъ: — а когда вытащили наружу, не было никакой возможности, легъ я на снѣгъ, а молоканы стоятъ около и бьютъ палками по колѣнкамъ и локтямъ. Больно, страсть! Побили и ушли . . . А на мнѣ все мерзнетъ, одежа обледенѣла, всталъ я и нѣтъ мочи. Спасибо, ѣхала баба, подвезла.

Между тѣмъ фельдшеръ выпилъ рюмокъ пять или шесть; на душѣ у него посвѣтлѣло и захотѣлось тоже разсказать что-нибудь необыкновенное, чудесное, и показать, что онъ тоже молодецъ и ничего не боится.

— А вотъ какъ у насъ въ Пензенской губерніи . . . — началъ-было онъ.

Оттого, что онъ много пилъ и посоловѣлъ, и, быть-можетъ, оттого, что онъ раза два былъ уличенъ во лжи, мужики не обращали на него никакого вниманія и даже перестали отвѣчать на его вопросы. Мало того, въ его присутствіи они пустились въ такія откровенности, что ему становилось жутко и холодно, а это значило, что они его не замѣчали.

Манеры у Калашникова были солидныя, какъ у человѣка степеннаго и разсудительнаго, говорилъ онъ обстоятельно, а зѣвая, всякій разъ крестилъ себѣ ротъ, и никто бы не могъ подумать, что это

воръ, безсердечный воръ, обирающій бѣдняковъ, который уже раза два сидѣлъ въ острогѣ, и общество уже составило приговоръ о томъ, чтобы сослать его въ Сибирь, да откупились отецъ и дядя, такіе же воры и негодяи, какъ онъ самъ. Мерикъ же держалъ себя хватомъ. Онъ видѣлъ, что Любка и Калашниковъ любуются имъ, и самъ считалъ себя молодцомъ, и то подбоченивался, то выпячивалъ впередъ грудь, то вытягивался такъ, что трещала скамья . . .

Послѣ ужина Калашниковъ, не вставая, помолился на образъ и пожалъ руку Мерику; тотъ тоже помолился и пожалъ руку Калашникову. Любка убрала ужинъ и насыпала на столъ мятныхъ пряниковъ, каленыхъ орѣховъ, тыквенныхъ сѣмячекъ и поставила двѣ бутылки со сладкимъ виномъ.

— Царство небесное, вѣчный покой Андрею Григорьичу, — говорилъ Калашниковъ, чокаясь съ Мерикомъ. — Когда онъ былъ живъ, соберемся мы здѣсь, бывало, или у брата Мартына и — Боже мой, Боже мой! — какіе люди, какіе разговоры! Замѣчательные разговоры! Тутъ и Мартынъ, и Филя, и Стукотей Ѳедоръ... Все благородно, сообразно... А какъ гуляли! Такъ гуляли, такъ гуляли!

Любка вышла и немного погодя вернулась въ зеленомъ платочкѣ и въ бусахъ.

— Мерикъ, погляди, что мнѣ сегодня Калашниковъ привезъ! — сказала она.

Она поглядѣлась въ зеркало и нѣсколько разъ мотнула головой, чтобы зазвучали бусы. А потомъ открыла сундукъ и стала вынимать оттуда то

ситцевое платье съ красными и голубыми глазочками, то другое — красное, съ оборками, которое шуршало и шелестѣло, какъ бумага, то новый платокъ, синій, съ радужнымъ отливомъ — и все это она показывала и, смѣясь, всплескивала руками, какъ будто изумлялась, что у нея такія сокровища.

Калашниковъ настроилъ балалайку и заигралъ, и фельдшеръ никакъ не могъ понять, какую онъ пѣсню играетъ, веселую или грустную, потому что было то очень грустно, даже плакать хотѣлось, то становилось весело. Меркъ вдругъ вскочилъ и затопалъ на одномъ мѣстѣ каблуками, а затѣмъ, растопыривъ руки, прошелся на однихъ каблукахъ отъ стола къ печкѣ, отъ печки къ сундуку, потомъ привскочилъ, какъ ужаленный ,щелкнулъ въ воздухѣ подковками и пошелъ валять въ присядку. Любка взмахнула обѣими руками, отчаянно взвизгнула и пошла за нимъ; сначала она прошлась бокомъ-бокомъ, ехидно, точно желая подкрасться къ кому-то и ударить сзади, застучала дробно пятками, какъ Меркъ каблуками, потомъ закружилась волчкомъ и присѣла, и ея красное платье раздулось въ колоколъ; злобно глядя на нее и оскаливъ зубы, понесся къ ней въ присядку Меркъ, желая уничтожить ее своими страшными ногами, а она вскочила, закинула назадъ голову и, взмахивая руками, какъ большая птица крыльями, едва касаясь пола, поплыла по комнатѣ . . .

«Ахъ, что за огонь-дѣвка! — думалъ фельдшеръ, садясь на сундукъ и отсюда глядя на танцы. — Что за жаръ! Отдай все да и мало . . .»

И онъ жалѣлъ: зачѣмъ онъ фельдшеръ, а не простой мужикъ? Зачѣмъ на немъ пиджакъ и цѣпочка съ позолоченнымъ ключикомъ, а не синяя рубаха съ веревочнымъ пояскомъ? Тогда бы онъ могъ смѣло пѣть, плясать, пить, обхватывать обѣими руками Любку, какъ это дѣлалъ Мерикъ . . .

Отъ рѣзкаго стука, крика и гиканья въ шкапу звенѣла посуда, на свѣчкѣ прыгалъ огонь.

Порвалась нитка и бусы разсыпались по всему полу, свалился съ головы зеленый платокъ и вмѣсто Любки мелькало только одно красное облако, да сверкали темные глаза, а у Мерика, того и гляди, сейчасъ оторвутся руки и ноги.

Но вотъ Мерикъ стукнулъ въ послѣдній разъ ногами и сталъ, какъ вкопанный . . . Замучившись, еле дыша, Любка склонилась къ нему на грудь и прижалась, какъ къ столбу, а онъ обнялъ ее и, глядя ей въ глаза, сказалъ нѣжно и ласково, какъ бы шутя:

— Ужо узнаю, гдѣ у твоей старухи деньги спрятаны, убью ее, а тебѣ горлышко ножичкомъ перерѣжу, а послѣ того зажгу постоялый дворъ . . . Люди будутъ думать, что вы отъ пожара пропали, а я съ вашими деньгами пойду на Кубань, буду тамъ табуны гонять, овецъ заведу . . .

Любка ничего не отвѣтила, а только виновато поглядѣла на него и спросила:

— Мерикъ, а хорошо на Кубани?

Онъ ничего не сказалъ, а пошелъ къ сундуку, сѣлъ и задумался; вѣроятно, сталъ мечтать о Кубани.

— Время мнѣ ѣхать одначе, — сказалъ Калашниковъ, поднимаясь. — Должно, Филя ужъ дожидается. Прощай, Люба!

Фельдшеръ вышелъ на дворъ поглядѣть: какъ бы не уѣхалъ Калашниковъ на его лошади. Метель все еще продолжалась. Бѣлыя облака, цѣпляясь своими длинными хвостами за бурьянъ и кусты, носились по двору, а по ту сторону забора, въ полѣ великаны въ бѣлыхъ саванахъ съ широкими рукавами кружились и падали, и опять поднимались, чтобы махать руками и драться. А вѣтеръ-то, вѣтеръ! Голыя березки и вишни, не вынося его грубыхъ ласкъ, низко гнулись къ землѣ и плакали: — Боже, за какой грѣхъ ты прикрѣпилъ насъ къ землѣ и не пускаешь на волю?

— Тпрр! — строго сказалъ Калашниковъ и сѣлъ на свою лошадь; одна половинка воротъ была отворена и около нея навалило высокій сугробъ. — Ну, поѣхала, что ли! — прикрикнулъ Калашниковъ. Малорослая, коротконогая лошаденка его пошла, завязла по самый животъ въ сугробѣ. Калашниковъ побѣлѣлъ отъ снѣга и скоро вмѣстѣ со своею лошадью исчезъ за воротами.

Когда фельдшеръ вернулся въ комнату, Любка ползала по полу и собирала бусы. Мерика не было.

«Славная дѣвка! — думалъ фельдшеръ, ложась на скамью и кладя подъ голову полушубокъ. — Ахъ, если-бъ Мерика тутъ не было!»

Любка раздражала его, ползая по полу около скамьи, и онъ подумалъ, что если бы здѣсь не было Мерика, то онъ непремѣнно вотъ всталъ бы и

обнялъ ее, а что дальше, тамъ было бы видно. Правда, она еще дѣвушка, но едва ли честная; да хотя бы и честная — стоитъ ли церемониться въ разбойничьемъ вертепѣ? Любка собрала бусы и вышла. Свѣчка догорала, и огонь ужъ захватилъ бумажку въ подсвѣчникѣ. Фельдшеръ положилъ возлѣ себя револьверъ и спички и потушилъ свѣчу. Лампадка сильно мигала, такъ что было больно глазамъ, и пятна прыгали по потолку, по полу, по шкапу, и среди нихъ мерещилась Любка, крѣпкая, полногрудая: то вертится волчкомъ, то замучилась пляской и тяжело дышитъ . . .

«Ахъ, если-бъ Мерика унесли нечистые!» — думалъ онъ.

Лампадка въ послѣдній разъ мигнула, затрещала и потухла. Кто-то, должно-быть, Мерикъ вошелъ въ комнату и сѣлъ на скамью. Онъ потянулъ изъ трубки, и на мгновеніе освѣтилась смуглая щека съ чернымъ пятнышкомъ. Отъ противнаго табачнаго дыма у фельдшера зачесалось въ горлѣ.

— Да и поганый же у тебя табакъ, — будь онъ проклятъ! — сказалъ фельдшеръ. — Даже тошно.

— Я табакъ съ овсянымъ цвѣтомъ мѣшаю, — отвѣтилъ Мерикъ, помолчавъ. — Грудямъ легче.

Онъ покурилъ, поплевалъ и опять ушелъ. Прошло съ полчаса и въ сѣняхъ вдругъ блеснулъ свѣтъ; показался Мерикъ въ полушубкѣ и въ шапкѣ, потомъ Любка со свѣчой въ рукахъ.

— Останься, Мерикъ! — сказала Любка умоляющимъ голосомъ.

— Нѣтъ, Люба. Не держи.

— Послушай меня, Мерикъ, — сказала Любка, и голосъ ея сталъ нѣженъ и мягокъ. — Я знаю, ты разыщешь у мамки деньги, загубишь и ее, и меня, и пойдешь на Кубань любить другихъ дѣвушекъ, но Богъ съ тобой. Я тебя объ одномъ прошу, сердце: останься!

— Нѣтъ, гулять желаю . . . — сказалъ Мерикъ, подпоясываясь.

— И гулять тебѣ не на чемъ . . . Вѣдь ты пѣшкомъ пришелъ, на чемъ ты поѣдешь?

Мерикъ нагнулся къ Любкѣ и шепнулъ ей что-то на ухо; она поглядѣла на дверь и засмѣялась сквозь слезы.

— А онъ спитъ, сатана надутая . . . — сказала она.

Мерикъ обнялъ ее, крѣпко поцѣловалъ и вышелъ наружу. Фельдшеръ сунулъ револьверъ въ карманъ, быстро вскочилъ и побѣжалъ за нимъ.

— Пусти съ дороги! — сказалъ онъ Любкѣ, которая въ сѣняхъ быстро заперла дверь на засовъ и остановилась на порогѣ. — Пусти! Что стала?

— Зачѣмъ тебѣ туда?

— На лошадь поглядѣть.

Любка посмотрѣла на него снизу вверхъ лукаво и ласково.

— Что на нее глядѣть? Ты на меня погляди . . . — сказала она, потомъ нагнулась и дотронулась пальцемъ до золоченаго ключика, висѣвшаго на его цѣпочкѣ.

— Пусти, а то онъ уѣдетъ на моей лошади! — сказалъ фельдшеръ. — Пусти, чортъ! — крикнулъ

онъ и, ударивъ ее со злобой по плечу, изо всей силы навалился грудью, чтобы оттолкнуть ее отъ двери, но она крѣпко уцѣпилась за засовъ и была точно желѣзная. — Пусти! — крикнулъ онъ, замучившись. — Уѣдетъ, говорю!

— Гдѣ ему? Не уѣдетъ.

Она, тяжело дыша и поглаживая плечо, которое болѣло, опять поглядѣла на него снизу вверхъ, покраснѣла и засмѣялась.

— Не уходи, сердце . . . — сказала она. — Мнѣ одной скучно.

Фельдшеръ поглядѣлъ ей въ глаза, подумалъ и обнялъ ее, она не противилась.

— Ну, не балуй, пусти! — попросилъ онъ.

Она молчала.

— А я слышалъ, — сказалъ онъ, — какъ ты сейчасъ говорила Мерику, что его любишь.

— Мало ли . . . Кого я люблю, про то моя думка знаетъ.

Она опять дотронулась пальцемъ до ключика и сказала тихо:

— Дай мнѣ это . . .

Фельдшеръ отцѣпилъ ключикъ и отдалъ ей. Она вдругъ вытянула шею, прислушалась и сдѣлала серьезное лицо, и взглядъ ея показался фельдшеру холоднымъ и лукавымъ; онъ вспомнилъ про коня, и уже легко отстранилъ ее и выбѣжалъ на дворъ. Подъ навѣсомъ мѣрно и лѣниво хрюкала засыпавшая свинья и стучала рогомъ корова . . . Фельдшеръ зажегъ спичку и увидѣлъ и свинью, и корову, и собакъ, которыя со всѣхъ сторонъ

бросились къ нему на огонь, но лошади и слѣдъ простылъ. Крича и махая руками на собакъ, спотыкаясь о сугробы и увязая въ снѣгу, онъ выбѣжалъ за ворота и сталъ вглядываться въ потемки. Онъ напрягалъ зрѣніе и видѣлъ только, какъ леталъ снѣгъ и какъ снѣжинки явственно складывались въ разныя фигуры: то выглянетъ изъ потемокъ бѣлая смѣющаяся рожа мертвеца, то проскачетъ бѣлый конь, а на немъ амазонка въ кисейномъ платьѣ, то пролетитъ надъ головою вереница бѣлыхъ лебедей . . . Дрожа отъ гнѣва и холода, не зная, что дѣлать, фельдшеръ выстрѣлилъ изъ револьвера въ собакъ и не попалъ ни въ одну, потомъ бросился назадъ въ домъ.

Когда онъ входилъ въ сѣни, то ему ясно послышалось, какъ кто-то шмыгнулъ изъ комнаты и стукнулъ дверью. Въ комнатѣ было темно; фельдшеръ толкнулся въ дверь: заперта; тогда зажигая спичку за спичкой, онъ бросился назадъ въ сѣни, оттуда въ кухню, изъ кухни въ маленькую комнату, гдѣ всѣ стѣны были увѣшаны юбками и платьями, и пахло васильками и укропомъ, и въ углу около печи стояла чья-то кровать съ цѣлой горою подушекъ; тутъ, должно-быть, жила старуха, Любкина мать; отсюда прошелъ онъ въ другую комнату, тоже маленькую, и здѣсь увидѣлъ Любку. Она лежала на сундукѣ, укрытая пестрымъ, стеганымъ одѣяломъ, сшитымъ изъ ситцевыхъ лоскутиковъ, и представлялась спящею. Надъ ея изголовьемъ горѣла лампадка.

— Гдѣ моя лошадь? — строго спросилъ фельдшеръ.

Любка не шевелилась.

— Гдѣ моя лошадь, я тебя спрашиваю? — повторилъ фельдшеръ еще строже и сорвалъ съ нея одѣяло. — Я тебя спрашиваю, чертовка! — крикнулъ онъ.

Она вскочила, стала на колѣни и, одной рукой придерживая сорочку, а другой стараясь ухватить одѣяло, прижалась къ стѣнѣ . . . Глядѣла она на фельдшера съ отвращеніемъ, со страхомъ, и глаза у нея, какъ у пойманнаго звѣря, лукаво слѣдили за малѣйшимъ его движеніемъ.

— Говори, гдѣ лошадь, а то я изъ тебя душу вышибу! — крикнулъ фельдшеръ.

— Отойди, поганый! — сказала она хриплымъ голосомъ.

Фельдшеръ схватилъ ее за сорочку около шеи и рванулъ; и тутъ же не выдержалъ и изо-всѣхъ силъ обнялъ дѣвку. А она, шипя отъ злости, заскользила въ его объятіяхъ и, высвободивъ одну руку — другая запуталась въ порванной сорочкѣ, — ударила его кулакомъ по темени.

Въ головѣ у него помутилось отъ боли, въ ушахъ зазвенѣло и застучало, онъ попятился назадъ и въ это время получилъ другой ударъ, но уже по виску. Пошатываясь и хватаясь за косяки, чтобы не упасть, онъ пробрался въ комнату, гдѣ лежали его вещи, и легъ на скамью, потомъ, полежавъ немного, вынулъ изъ кармана коробку со спичками и сталъ жечь спичку за спичкой, безъ всякой надобности: зажжетъ, дунетъ и броситъ подъ столъ — и такъ, пока не вышли всѣ спички.

Между тѣмъ за окномъ сталъ синѣть воздухъ, заголосили пѣтухи, а голова все болѣла и въ ушахъ былъ такой шумъ, какъ будто Ергуновъ сидѣлъ подъ желѣзнодорожнымъ мостомъ и слушалъ, какъ надъ головой его проходитъ поѣздъ. Кое-какъ онъ надѣлъ полушубокъ и шапку; сѣдла и узла съ покупками онъ не нашелъ, сумка была пуста: не даромъ кто-то шмыгнулъ изъ комнаты, когда онъ давеча входилъ со двора.

Онъ взялъ въ кухнѣ кочергу, чтобы оборониться отъ собакъ, и вышелъ на дворъ, оставивъ дверь настежь. Метель ужъ улеглась и на дворѣ было тихо... Когда онъ вышелъ за ворота, бѣлое поле представлялось мертвымъ, и ни одной птицы не было на утреннемъ небѣ. По обѣ стороны дороги и далеко вдали синѣлъ мелкій лѣсъ.

Фельдшеръ сталъ-было думать о томъ, какъ встрѣтятъ его въ больницѣ и что скажетъ ему докторъ; нужно было непремѣнно думать объ этомъ и приготовить заранѣе отвѣты на вопросы, но мысли эти расплывались и уходили прочь. Онъ шелъ и думалъ только о Любкѣ, о мужикахъ, съ которыми провелъ ночь; вспоминалъ онъ о томъ, какъ Любка, ударивъ его во второй разъ, нагнулась къ полу за одѣяломъ и какъ упала ея распустившаяся коса на полъ. У него путалось въ головѣ и онъ думалъ: къ чему на этомъ свѣтѣ доктора, фельдшера, купцы, писаря, мужики, а не просто вольные люди? Есть же вѣдь вольныя птицы, вольные звѣри, вольный Мерикъ и никого они не боятся, и никто имъ не нуженъ! И кто это выду-

малъ, кто сказалъ, что вставать нужно утромъ, обѣдать въ полдень, ложиться вечеромъ, что докторъ старше фельдшера, что надо жить въ комнатѣ и можно любить только жену свою? А почему бы не наоборотъ: обѣдать бы ночью, а спать днемъ? Ахъ, вскочить бы на лошадь, не спрашивая, чья она, носиться бы чортомъ въ перегонку съ вѣтромъ по полямъ, лѣсамъ и оврагамъ, любить бы дѣвушекъ, смѣяться бы надъ всѣми людьми . . .

Фельдшеръ бросилъ кочергу въ снѣгъ, припалъ лбомъ къ бѣлому холодному стволу березы и задумался, и его сѣрая, однообразная жизнь, его жалованье, подчиненность, аптека, вѣчная возня съ банками и мушками казались ему презрѣнными, тошными.

— Кто говоритъ, что гулять грѣхъ? — спрашивалъ онъ себя съ досадой. — А вотъ которые говорятъ это, тѣ никогда не жили на волѣ, какъ Мерикъ или Калашниковъ, и не любили Любки; они всю свою жизнь побирались, жили безъ всякаго удовольствія и любили только своихъ женъ, похожихъ на лягушекъ.

И про себя онъ теперь думалъ такъ, что если самъ онъ до сихъ поръ не сталъ воромъ, мошенникомъ, или даже разбойникомъ, то потому только, что не умѣетъ, или не встрѣчаетъ еще подходящаго случая.

Прошло года полтора. Какъ-то весною, послѣ Святой, фельдшеръ, давно уже уволенный изъ

больницы и ходившій безъ мѣста, поздно вечеромъ вышелъ въ Рѣпинѣ изъ трактира и побрелъ по улицѣ безъ всякой цѣли.

Вышелъ онъ въ поле. Тамъ пахло весной и дулъ теплый, ласковый вѣтерокъ. Тихая, звѣздная ночь глядѣла съ неба на землю. Боже мой, какъ глубоко небо и какъ неизмѣримо широко раскинулось оно надъ міромъ! Хорошо созданъ міръ, только зачѣмъ и съ какой стати, думалъ фельдшеръ, люди дѣлятъ другъ друга на трезвыхъ и пьяныхъ, служащихъ и уволенныхъ и пр.? Почему трезвый и сытый покойно спитъ у себя дома, а пьяный и голодный долженъ бродить по полю, не зная пріюта? Почему кто не служитъ и не получаетъ жалованья, тотъ непремѣнно долженъ быть голоденъ, раздѣтъ, не обутъ? Кто это выдумалъ? Почему же птицы и лѣсные звѣри не служатъ и не получаютъ жалованья, а живутъ въ свое удовольствіе?

Вдали на небѣ, распахнувшись надъ горизонтомъ, дрожало красивое багровое зарево. Фельдшеръ стоялъ и долго глядѣлъ на него и все думалъ: почему, если онъ вчера унесъ чужой самоваръ и прогулялъ его въ кабакѣ, то это грѣхъ? Почему?

Мимо по дорогѣ проѣхали двѣ телѣги: въ одной спала баба, въ другой сидѣлъ старикъ безъ шапки...

— Дѣдъ, гдѣ это горитъ? — спросилъ фельдшеръ.

— Дворъ Андрея Чирикова... — отвѣтилъ старикъ.

И вспомнилъ фельдшеръ, что случилось съ нимъ года полтора назадъ, зимою, въ этомъ самомъ дворѣ, и какъ хвасталъ Мерикъ; и вообразилъ онъ, какъ горятъ зарѣзанныя старуха и Любка, и позавидовалъ Мерику. И когда шелъ опять въ трактиръ, то, глядя на дома богатыхъ кабатчиковъ, прасоловъ и кузнецовъ, соображалъ: хорошо бы ночью забраться къ кому побогаче!

ПАРИ

I

Была темная, осенняя ночь. Старый банкиръ ходилъ у себя въ кабинетѣ изъ угла въ уголъ и вспоминалъ, какъ пятнадцать лѣтъ тому назадъ, осенью онъ давалъ вечеръ. На этомъ вечерѣ было много умныхъ людей и велись интересные разговоры. Между прочимъ говорили о смертной казни. Гости, среди которыхъ было не мало ученыхъ и журналистовъ, въ большинствѣ относились къ смертной казни отрицательно. Они находили этотъ способъ наказанія устарѣвшимъ, непригоднымъ для христіанскихъ государствъ и безнравственнымъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ изъ нихъ, смертную казнь повсемѣстно слѣдовало бы замѣнить пожизненнымъ заключеніемъ.

— Я съ вами несогласенъ, — сказалъ хозяинъ-банкиръ. — Я не пробовалъ ни смертной казни, ни пожизненнаго заключенія, но если можно судить a priori, то, по-моему, смертная казнь нравственнѣе и гуманнѣе заключенія. Казнь убиваетъ сразу, а пожизненное заключеніе медленно. Какой же палачъ человѣчнѣе? Тотъ ли, который убиваетъ васъ въ нѣсколько минутъ, или

тотъ, который вытягиваетъ изъ васъ жизнь въ продолженіе многихъ лѣтъ?

— То и другое одинаково безнравственно, — замѣтилъ кто-то изъ гостей: — потому что имѣетъ одну и ту же цѣль — отнятіе жизни. Государство — не Богъ. Оно не имѣетъ права отнимать то, чего не можетъ вернуть, если захочетъ.

Среди гостей находился одинъ юристъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати пяти. Когда спросили его мнѣнія, онъ сказалъ:

— И смертная казнь, и пожизненное заключеніе одинаково безнравственны, но если бы мнѣ предложили выбирать между казнью и пожизненнымъ заключеніемъ, то, конечно, я выбралъ бы второе. Жить какъ-нибудь лучше, чѣмъ никакъ.

Поднялся оживленный споръ. Банкиръ, бывшій тогда помоложе и нервнѣе, вдругъ вышелъ изъ себя, ударилъ кулакомъ по столу и крикнулъ, обращаясь къ молодому юристу:

— Неправда! Держу пари на два милліона, что вы не высидите въ казематѣ и пяти лѣтъ.

— Если это серьезно, — отвѣтилъ ему юристъ: — то держу пари, что высижу не пять, а пятнадцать.

— Пятнадцать? Идетъ! — крикнулъ банкиръ: — Господа, я ставлю два милліона!

— Согласенъ! Вы ставите милліоны, а я свою свободу! — сказалъ юристъ.

И это дикое, безсмысленное пари состоялось! Банкиръ, не знавшій тогда счета своимъ милліонамъ, избалованный и легкомысленный, былъ въ

восторгѣ отъ пари. За ужиномъ онъ шутилъ надъ юристомъ и говорилъ:

— Образумьтесь, молодой человѣкъ, пока еще не поздно. Для меня два милліона составляютъ пустяки, а вы рискуете потерять три-четыре лучшихъ года вашей жизни. Говорю — три-четыре, потому что вы не высидите дольше. Не забывайте также, несчастный, что добровольное заточеніе гораздо тяжелѣе обязательнаго. Мысль, что каждую минуту вы имѣете право выйти на свободу, отравитъ вамъ въ казематѣ все ваше существованіе. Мнѣ жаль васъ!

И теперь банкиръ, шагая изъ угла въ уголъ, вспоминалъ все это и спрашивалъ себя:

— Къ чему это пари? Какая польза отъ того, что юристъ потерялъ пятнадцать лѣтъ жизни, а я брошу два милліона? Можетъ ли это доказать людямъ, что смертная казнь хуже или лучше пожизненнаго заключенія? Нѣтъ и нѣтъ. Вздоръ и безсмыслица. Съ моей стороны то была прихоть сытаго человѣка, а со стороны юриста — простая алчность къ деньгамъ . . .

Далѣе вспоминалъ онъ о томъ, что произошло послѣ описаннаго вечера. Рѣшено было, что юристъ будетъ отбывать свое заключеніе подъ строжайшимъ надзоромъ въ одномъ изъ флигелей, построенныхъ въ саду банкира. Условились, что въ продолженіе пятнадцати лѣтъ онъ будетъ лишенъ права переступать порогъ флигеля, видѣть живыхъ людей, слышать человѣческіе голоса и получать письма и газеты. Ему разрѣшалось

имѣть музыкальный инструментъ, читать книги, писать письма, пить вино и курить табакъ. Съ внѣшнимъ міромъ, по условію, онъ могъ сноситься не иначе, какъ молча, черезъ маленькое окно, нарочно устроенное для этого. Все, что нужно, книги, ноты, вино и прочее, онъ могъ получать по запискѣ въ какомъ угодно количествѣ, но только черезъ окно. Договоръ предусматривалъ всѣ подробности и мелочи, дѣлавшія заключеніе строго одиночнымъ, и обязывалъ юриста высидѣть *ровно* пятнадцать лѣтъ съ 12-ти часовъ 14 ноября 1870 г. и кончая 12-ю часами 14 ноября 1885 г. Малѣйшая попытка со стороны юриста нарушить условія, хотя бы за двѣ минуты до срока, освобождала банкира отъ обязанности платить ему два милліона.

Въ первый годъ заключенія юристъ, насколько можно было судить по его короткимъ запискамъ, сильно страдалъ отъ одиночества и скуки. Изъ его флигеля постоянно днемъ и ночью слышались звуки рояля! Онъ отказался отъ вина и табаку. Вино, писалъ онъ, возбуждаетъ желанія, а желанія — первые враги узника; къ тому же нѣтъ ничего скучнѣе, какъ пить хорошее вино и никого не видѣть. А табакъ портитъ въ его комнатѣ воздухъ. Въ первый годъ юристу посылались книги преимущественно легкаго содержанія: романы съ сложной любовной интригой, уголовные и фантастическіе разсказы, комедіи и т. п.

Во второй годъ музыка уже смолкла во флигелѣ, и юристъ требовалъ въ своихъ запискахъ только классиковъ. Въ пятый годъ снова послышалась

музыка, и узникъ попросилъ вина. Тѣ, которые наблюдали за нимъ въ окошко, говорили, что весь этотъ годъ онъ только ѣлъ, пилъ и лежалъ на постели, часто зѣвалъ, сердито разговаривалъ самъ съ собою. Книгъ онъ не читалъ. Иногда по ночамъ онъ садился писать, писалъ долго и подъ утро разрывалъ на клочки все написанное. Слышали не разъ, какъ онъ плакалъ.

Во второй половинѣ шестого года узникъ усердно занялся изученіемъ языковъ, философіей и исторіей. Онъ жадно принялся за эти науки, такъ что банкиръ едва успѣвалъ выписывать для него книги. Въ продолженіе четырехъ лѣтъ по его требованію было выписано около шестисотъ томовъ. Въ періодъ этого увлеченія банкиръ между прочимъ получилъ отъ своего узника такое письмо: «Дорогой мой тюремщикъ! Пишу вамъ эти строки на шести языкахъ. Покажите ихъ свѣдущимъ людямъ. Пусть прочтутъ. Если они не найдутъ ни одной ошибки, то умоляю васъ, прикажите выстрѣлить въ саду изъ ружья. Выстрѣлъ этотъ скажетъ мнѣ, что мои усилія не пропали даромъ. Геніи всѣхъ вѣковъ и странъ говорятъ на различныхъ языкахъ, но горитъ во всѣхъ ихъ одно и то же пламя. О, если бы вы знали, какое неземное счастье испытываетъ теперь моя душа оттого, что я умѣю понимать ихъ!» Желаніе узника было исполнено. Банкиръ приказалъ выстрѣлить въ саду два раза.

Затѣмъ послѣ десятаго года юристъ неподвижно сидѣлъ за столомъ и читалъ одно только Евангеліе.

Банкиру казалось страннымъ, что человѣкъ, одолѣвшій въ четыре года шестьсотъ мудреныхъ томовъ, потратилъ около года на чтеніе одной удобопонятной и не толстой книги. На смѣну Евангелію пошли исторія религій и богословіе.

Въ послѣдніе два года заточенія узникъ читалъ чрезвычайно много, безъ всякаго разбора. То онъ занимался естественными науками, то требовалъ Байрона или Шекспира. Бывали отъ него такія записки, гдѣ онъ просилъ прислать ему въ одно и то же время и химію, и медицинскій учебникъ, и романъ, и какой-нибудь философскій или богословскій трактатъ. Его чтеніе было похоже на то, какъ будто онъ плавалъ въ морѣ среди обломковъ корабля и, желая спасти себѣ жизнь, жадно хватался то за одинъ обломокъ, то за другой!

II

Старикъ банкиръ вспоминалъ все это и думалъ:

«Завтра въ 12 часовъ онъ получаетъ свободу. По условію, я долженъ буду уплатить ему два милліона. Если я уплачу, то все погибло: я окончательно разоренъ . . .»

Пятнадцать лѣтъ тому назадъ онъ не зналъ счета своимъ милліонамъ, теперь же онъ боялся спросить себя, чего у него больше — денегъ или долговъ? Азартная биржевая игра, рискованныя спекуляціи и горячность, отъ которой онъ не могъ отрѣшиться даже въ старости, мало-по-малу привели въ упадокъ его дѣла, и безстрашный, самонадѣянный, гордый богачъ превратился въ

банкира средней руки, трепещущаго при всякомъ повышеніи и пониженіи бумагъ.

— Проклятое пари! — бормоталъ старикъ, въ отчаяніи хватая себя за голову... — Зачѣмъ этотъ человѣкъ не умеръ? Ему еще сорокъ лѣтъ. Онъ возьметъ съ меня послѣднее, женится, будетъ наслаждаться жизнью, играть на биржѣ, а я, какъ нищій, буду глядѣть съ завистью и каждый день слышать отъ него одну и ту же фразу: «Я обязанъ вамъ счастьемъ моей жизни, позвольте мнѣ помочь вамъ!» Нѣтъ, это слишкомъ! Единственное спасеніе отъ банкротства и позора — смерть этого человѣка!

Пробило три часа. Банкиръ прислушался: въ домѣ всѣ спали и только слышно было, какъ за окнами шумѣли озябшія деревья. Стараясь не издавать ни звука, онъ досталъ изъ несгораемаго шкапа ключъ отъ двери, которая не отворялась въ продолженіе пятнадцати лѣтъ, надѣлъ пальто и вышелъ изъ дому.

Въ саду было темно и холодно. Шелъ дождь. Рѣзкій сырой вѣтеръ съ воемъ носился по всему саду и не давалъ покоя деревьямъ. Банкиръ напрягалъ зрѣніе, но не видѣлъ ни земли, ни бѣлыхъ статуй, ни флигеля, ни деревьевъ. Подойдя къ тому мѣсту, гдѣ находился флигель, онъ два раза окликнулъ сторожа. Отвѣта не послѣдовало. Очевидно, сторожъ укрылся отъ непогоды и теперь спалъ гдѣ-нибудь на кухнѣ или въ оранжереѣ.

«Если у меня хватитъ духа исполнить свое намѣреніе, — подумалъ старикъ: — то подозрѣніе прежде всего падетъ на сторожа».

Онъ нащупалъ въ потемкахъ ступени и дверь и вошелъ въ переднюю флигеля, затѣмъ ощупью пробрался въ небольшой корридоръ и зажегъ спичку. Тутъ не было ни души. Стояла чья-то кровать безъ постели да темнѣла въ углу чугунная печка. Печати на двери, ведущей въ комнату узника, были цѣлы.

Когда потухла спичка, старикъ, дрожа отъ волненія, заглянулъ въ маленькое окно.

Въ комнатѣ узника тускло горѣла свѣча. Самъ онъ сидѣлъ у стола. Видны были только его спина, волосы на головѣ да руки. На столѣ, на двухъ креслахъ и на коврѣ, возлѣ стола, лежали раскрытыя книги.

Прошло пять минутъ, и узникъ ни разу не шевельнулся. Пятнадцатилѣтнее заточеніе научило его сидѣть неподвижно. Банкиръ постучалъ пальцемъ въ окно, и узникъ не отвѣтилъ на этотъ стукъ ни однимъ движеніемъ. Тогда банкиръ осторожно сорвалъ съ двери печати и вложилъ ключъ въ замочную скважину. Заржавленный замокъ издалъ хриплый звукъ и дверь скрипнула. Банкиръ ожидалъ, что тотчасъ же послышится крикъ удивленія и шаги, но прошло минуты три, и за дверью было тихо попрежнему. Онъ рѣшился войти въ комнату.

За столомъ неподвижно сидѣлъ человѣкъ, непохожій на обыкновенныхъ людей. Это былъ скелетъ, обтянутый кожею, съ длинными женскими кудрями и съ косматой бородой. Цвѣтъ лица у него былъ желтый, съ землистымъ оттѣнкомъ, щеки

впалыя, спина длинная и узкая, а рука, которою онъ поддерживалъ свою волосатую голову, была такъ тонка и худа, что на нее было жутко смотрѣть. Въ волосахъ его уже серебрилась сѣдина и, глядя на старчески изможденное лицо, никто не повѣрилъ бы, что ему только сорокъ лѣтъ. Онъ спалъ... Передъ его склоненною головой на столѣ лежалъ листъ бумаги, на которомъ было что-то написано мелкимъ почеркомъ.

«Жалкій человѣкъ! — подумалъ банкиръ. — Спитъ и, вѣроятно, видитъ во снѣ милліоны! А стоитъ мнѣ только взять этого полумертвеца, бросить его на постель, слегка придушить подушкой и самая добросовѣстная экспертиза не найдетъ знаковъ насильственной смерти. Однако, прочтемъ сначала, что онъ тутъ написалъ...

Банкиръ взялъ со стола листъ и прочелъ слѣдующее:

«Завтра въ 12 часовъ дня я получаю свободу и право общенія съ людьми. Но прежде, чѣмъ оставить эту комнату и увидѣть солнце, я считаю нужнымъ сказать вамъ нѣсколько словъ. По чистой совѣсти и передъ Богомъ, который видитъ меня, заявляю вамъ, что я презираю и свободу, и жизнь, и здоровье, и все то, что въ вашихъ книгахъ называется благами міра.

«Пятнадцать лѣтъ я внимательно изучалъ земную жизнь. Правда, я не видѣлъ земли и людей, но въ вашихъ книгахъ я пилъ ароматное вино, пѣлъ пѣсни, гонялся въ лѣсахъ за оленями и дикими кабанами, любилъ женщинъ... Красавицы,

воздушныя какъ облако, созданныя волшебствомъ вашихъ геніальныхъ поэтовъ, посѣщали меня ночью и шептали мнѣ чудныя сказки, отъ которыхъ пьянѣла моя голова. Въ вашихъ книгахъ я взбирался на вершины Эльборуса и Монблана и видѣлъ оттуда, какъ по утрамъ восходило солнце и какъ по вечерамъ заливало оно небо, океанъ и горныя вершины багрянымъ золотомъ; я видѣлъ оттуда, какъ надо мной, разсѣкая тучи, сверкали молніи; я видѣлъ зеленые лѣса, поля, рѣки, озера, города, слышалъ пѣніе сиренъ и игру пастушескихъ свирѣлей, осязалъ крылья прекрасныхъ дьяволовъ, прилетавшихъ ко мнѣ бесѣдовать о Богѣ . . . Въ вашихъ книгахъ я бросался въ бездонныя пропасти, творилъ чудеса, убивалъ, сжигалъ города, проповѣдывалъ новыя религіи, завоевывалъ цѣлыя царства . . .

«Ваши книги дали мнѣ мудрость. Все то, что вѣками создавала неутомимая человѣческая мысль, сдавлено въ моемъ черепѣ въ небольшой комъ. Я знаю, что я умнѣе всѣхъ васъ.

«И я презираю ваши книги, презираю всѣ блага міра и мудрость. Все ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво, какъ миражъ. Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть сотретъ васъ съ лица земли наравнѣ съ подпольными мышами, а потомство ваше, исторія, безсмертіе вашихъ геніевъ замерзнутъ или сгорятъ вмѣстѣ съ земнымъ шаромъ.

«Вы обезумѣли и идете не по той дорогѣ. Ложь принимаете вы за правду и безобразіе за красоту. Вы удивились бы, если бы вслѣдствіе какихъ-

нибудь обстоятельствъ на яблоняхъ и апельсинныхъ деревьяхъ вмѣсто плодовъ вдругъ выросли лягушки и ящерицы, или розы стали издавать запахъ вспотѣвшей лошади; такъ я удивляюсь вамъ, промѣнявшимъ небо на землю. Я не хочу понимать васъ.

«Чтобъ показать вамъ на дѣлѣ презрѣніе къ тому, чѣмъ живете вы, я отказываюсь отъ двухъ милліоновъ, о которыхъ я когда-то мечталъ, какъ о раѣ, и которые теперь презираю. Чтобы лишить себя права на нихъ, я выйду отсюда за пять часовъ до условленнаго срока и такимъ образомъ нарушу договоръ . . .»

Прочитавъ это, банкиръ положилъ листъ на столъ, поцѣловалъ страннаго человѣка въ голову, заплакалъ и вышелъ изъ флигеля. Никогда въ другое время, даже послѣ сильныхъ проигрышей на биржѣ, онъ не чувствовалъ такого презрѣнія къ самому себѣ, какъ теперь. Придя домой, онъ легъ въ постель, но волненіе и слезы долго не давали ему уснуть . . .

На другой день утромъ прибѣжали блѣдные сторожа и сообщили ему, что они видѣли, какъ человѣкъ, живущій во флигелѣ, пролѣзъ черезъ окно въ садъ, пошелъ къ воротамъ, затѣмъ куда-то скрылся. Вмѣстѣ со слугами банкиръ тотчасъ же отправился во флигель и удостовѣрилъ бѣгство своего узника. Чтобы не возбуждать лишнихъ толковъ, онъ взялъ со стола листъ съ отреченіемъ и, вернувшись къ себѣ, заперъ его въ несгораемый шкапъ

ИМЕНИНЫ

I

Послѣ именинаго обѣда, съ его восемью блюдами и безконечными разговорами, жена именинника Ольга Михайловна пошла въ садъ. Обязанность непрерывно улыбаться и говорить, звонъ посуды, безтолковость прислуги, длинные обѣденные антракты и корсетъ, который она надѣла, чтобы скрыть отъ гостей свою беременность, утомили ее до изнеможенія. Ей хотѣлось уйти подальше отъ дома, посидѣть въ тѣни и отдохнуть на мысляхъ о ребенкѣ, который долженъ былъ родиться у нея мѣсяца черезъ два. Она привыкла къ тому, что эти мысли приходили къ ней, когда она съ большой аллеи сворачивала влѣво на узкую тропинку; тутъ въ густой тѣни сливъ и вишенъ сухія вѣтки царапали ей плечи и шею, паутина садилась на лицо, а въ мысляхъ выросталъ образъ маленькаго человѣчка неопредѣленнаго пола, съ неяснымі чертами, и начинало казаться, что не паутина ласково щекочетъ лицо и шею, а этотъ человѣчекъ; когда же въ концѣ тропинки показывался жидкій плетень, а за нимъ пузатые ульи съ черепяными крышками, когда въ неподвижномъ, застоявшемся воздухѣ начинало пах-

нуть и сѣномъ, и медомъ, и слышалось кроткое жужжанье пчелъ, маленькій человѣчекъ совсѣмъ овладѣвалъ Ольгой Михайловной. Она садилась на скамеечкѣ около шалаша, сплетеннаго изъ лозы, и принималась думать.

И на этотъ разъ она дошла до скамеечки, сѣла и стала думать; но въ ея воображеніи вмѣсто маленькаго человѣчка вставали большіе люди, отъ которыхъ она только-что ушла. Ее сильно безпокоило, что она, хозяйка, оставила гостей; и вспомнила она, какъ за обѣдомъ ея мужъ Петръ Дмитричъ и ея дядя Николай Николаичъ спорили о судѣ присяжныхъ, о печати и о женскомъ образованіи; мужъ по обыкновенію спорилъ для того, чтобы щегольнуть передъ гостями своимъ консерватизмомъ, а главное — чтобы не соглашаться съ дядей, котораго онъ не любилъ; дядя же противорѣчилъ ему и придирался къ каждому его слову для того, чтобы показать обѣдающимъ, что онъ, дядя, несмотря на свои 59 лѣтъ, сохранилъ еще въ себѣ юношескую свѣжесть духа и свободу мысли. И сама Ольга Михайловна подъ конецъ обѣда не выдержала и стала неумѣло защищать женскіе курсы, — не потому, что эти курсы нуждались въ защитѣ, а просто потому, что ей хотѣлось досадить мужу, который, по ея мнѣнію, былъ несправедливъ. Гостей утомилъ этотъ споръ, но всѣ они нашли нужнымъ вмѣшаться и говорили много, хотя всѣмъ имъ не было никакого дѣла ни до суда присяжныхъ, ни до женскаго образованія . . .

Ольга Михайловна сидѣла по сю сторону плетня, около шалаша. Солнце пряталось за облаками, деревья и воздухъ хмурились, какъ передъ дождемъ, но, несмотря на это, было жарко и душно. Сѣно, скошенное подъ деревьями наканунѣ Петрова дня, лежало неубранное, печальное, пестрѣя своими поблекшими цвѣтами и испуская тяжелый приторный запахъ. Было тихо. За плетнемъ монотонно жужжали пчелы . . .

Неожиданно послышались шаги и голоса. Кто-то шелъ по тропинкѣ къ пасѣкѣ.

— Душно! — сказалъ женскій голосъ. — Какъ по-вашему, будетъ дождь, или нѣтъ?

— Будетъ, моя прелесть, но не раньше ночи, — отвѣтилъ томно очень знакомый мужской голосъ. — Хорошій дождь будетъ.

Ольга Михайловна разсудила, что если она поспѣшитъ спрятаться въ шалашъ, то ея не замѣтятъ и пройдутъ мимо, и ей не нужно будетъ говорить и напряженно улыбаться. Она подобрала платье, нагнулась и вошла въ шалашъ. Тотчасъ же лицо, шею и руки ея обдало горячимъ и душнымъ, какъ паръ, воздухомъ. Если бы не духота и не спертый запахъ ржаного хлѣба, укропа и лозы, отъ котораго захватывало дыханіе, то тутъ, подъ соломенною крышей и въ сумеркахъ, отлично можно было бы прятаться отъ гостей и думать о маленькомъ человѣчкѣ. Уютно и тихо.

— Какое здѣсь хорошенькое мѣстечко! — сказалъ женскій голосъ. — Посидимте здѣсь, Петръ Дмитричъ.

Ольга Михайловна стала глядѣть въ щель между двумя хворостинами. Она увидала своего мужа Петра Дмитрича и гостью Любочку Шеллеръ, семнадцатилѣтнюю дѣвочку, недавно кончившую въ институтѣ. Петръ Дмитричъ, со шляпой на затылкѣ, томный и лѣнивый оттого, что много пилъ за обѣдомъ, въ развалку ходилъ около плетня и ногой сгребалъ въ кучу сѣно; Любочка, розовая отъ жары и, какъ всегда, хорошенькая, стояла, заложивъ руки назадъ, и слѣдила за лѣнивыми движеніями его большого красиваго тѣла.

Ольга Михайловна знала, что ея мужъ нравится женщинамъ, и не любила видѣть его съ ними. Ничего особеннаго не было въ томъ, что Петръ Дмитричъ лѣниво сгребалъ сѣно, чтобы посидѣть на немъ съ Любочкой и поболтать о пустякахъ; ничего не было особеннаго и въ томъ, что хорошенькая Любочка кротко глядѣла на него, но все же Ольга Михайловна почувствовала досаду на мужа, страхъ и удовольствіе оттого, что ей можно сейчасъ подслушать.

— Садитесь, очаровательница, — сказалъ Петръ Дмитричъ, опускаясь на сѣно и потягиваясь. — Вотъ такъ. Ну, разскажите мнѣ что-нибудь.

— Вотъ еще! Я стану разсказывать, а вы уснете.

— Я усну? Аллахъ керимъ! Могу ли я уснуть, когда на меня глядятъ такіе глазки?

Въ словахъ мужа и въ томъ, что онъ въ присутствіи гостьи сидѣлъ развалясь и со шляпой на

затылкѣ, не было тоже ничего особеннаго. Онъ былъ избалованъ женщинами, зналъ, что нравится имъ, и въ обращеніи съ ними усвоилъ себѣ особый тонъ, который, какъ всѣ говорили, былъ ему къ лицу. Съ Любочкой онъ держалъ себя такъ же, какъ со всѣми женщинами. Но Ольга Михайловна все-таки ревновала.

— Скажите, пожалуйста, — начала Любочка послѣ нѣкотораго молчанія: — правду ли говорятъ, что вы попали подъ судъ?

— Я? Да, попалъ . . . Къ злодѣямъ сопричтенъ, моя прелесть.

— Но за что?

— Ни за что, а такъ . . . все больше изъ-за политики, — зѣвнулъ Петръ Дмитричъ. — Борьба лѣвой и правой. Я, обскурантъ и рутинеръ, осмѣлился употребить въ офиціальной бумагѣ выраженія, оскорбительныя для такихъ непогрѣшимыхъ Гладстоновъ, какъ нашъ участковый мировой судья Кузьма Григорьевичъ Востряковъ и Владиміръ Павловичъ Владиміровъ.

Петръ Дмитричъ еще разъ зѣвнулъ и продолжалъ:

— А у насъ такой порядокъ, что вы можете неодобрительно отзываться о солнцѣ, о лунѣ, о чемъ угодно, но храни васъ Богъ трогать либераловъ! Боже васъ сохрани! Либералъ, это — тотъ самый поганый сухой грибъ, который, если вы нечаянно дотронетесь до него пальцемъ, обдастъ васъ облакомъ пыли.

— Что у васъ произошло?

— Ничего особеннаго. Весь сыръ-боръ загорѣлся изъ-за чистѣйшаго пустяка. Какой-то учитель, плюгавенькая личность колокольнаго происхожденія, подаетъ Вострякову прошеніе на трактирщика, обвиняя его въ оскорбленіи словами и дѣйствіемъ въ публичномъ мѣстѣ. Изъ всего видно, что и учитель, и трактирщикъ оба были пьяны, какъ сапожники, и оба вели себя одинаково скверно. Если и было оскорбленіе, то во всякомъ случаѣ взаимное. Вострякову слѣдовало бы оштрафовать обоихъ за нарушеніе тишины и прогнать ихъ изъ камеры, — вотъ и все. Но у насъ какъ? У насъ на первомъ планѣ стоитъ всегда не лицо, не фактъ, а фирма и ярлыкъ. Учитель, какой бы онъ негодяй ни былъ, всегда правъ, потому что онъ учитель; трактирщикъ же всегда виноватъ, потому что онъ трактирщикъ и кулакъ. Востряковъ приговорилъ трактирщика къ аресту, тотъ перенесъ дѣло въ съѣздъ. Съѣздъ торжественно утвердилъ приговоръ Вострякова. Ну, я остался при особомъ мнѣніи . . . Немножко погорячился . . . Вотъ и все.

Петръ Дмитричъ говорилъ покойно, съ небрежною ироніей. На самомъ же дѣлѣ предстоящій судъ сильно безпокоилъ его. Ольга Михайловна помнила, какъ онъ, вернувшись съ злополучнаго съѣзда, всѣми силами старался скрыть отъ домашнихъ, что ему тяжело и что онъ недоволенъ собой. Какъ умный человѣкъ, онъ не могъ не чувствовать, что въ своемъ особомъ мнѣніи онъ зашелъ слишкомъ далеко, и сколько лжи

понадобилось ему, чтобы скрывать отъ себя и отъ людей это чувство! Сколько было ненужныхъ разговоровъ, сколько брюзжанья и неискренняго смѣха надъ тѣмъ, что не смѣшно! Узнавъ же, что его привлекаютъ къ суду, онъ вдругъ утомился и палъ духомъ, сталъ плохо спать, чаще, чѣмъ обыкновенно, стоялъ у окна и барабанилъ пальцами по стекламъ. И онъ стыдился сознаться передъ женою, что ему тяжело, а ей было досадно...

— Говорятъ, вы были въ Полтавской губерніи? — спросила Любочка.

— Да, былъ, — отвѣтилъ Петръ Дмитричъ. — Третьяго дня вернулся оттуда.

— Небось, хорошо тамъ?

— Хорошо. Даже очень хорошо. Я, надо вамъ сказать, попалъ туда какъ разъ на сѣнокосъ, а на Украйнѣ сѣнокосъ самое поэтическое время. Тутъ у насъ большой домъ, большой садъ, много людей и суеты, такъ что вы не видите, какъ косятъ; тутъ все проходитъ незамѣтно. Тамъ же у меня на хуторѣ пятнадцать десятинъ луга какъ на ладони: у какого окна ни станьте, отовсюду увидите косарей. На лугу косятъ, въ саду косятъ, гостей нѣтъ, суеты тоже, такъ что вы поневолѣ видите, слышите и чувствуете одинъ только сѣнокосъ. На дворѣ и въ комнатахъ пахнетъ сѣномъ, отъ зари до зари звенятъ косы. Вообще Хохландія милая страна. Вѣрите ли, когда я пилъ у колодцевъ съ журавлями воду, а въ жидовскихъ корчмахъ — поганую водку, когда въ тихіе вечера доносились до меня звуки хохлацкой скрипки и бубна, то меня манила

обворожительная мысль — засѣсть у себя на хуторѣ и жить въ немъ, пока живется, подальше отъ этихъ съѣздовъ, умныхъ разговоровъ, философствующихъ женщинъ, длинныхъ обѣдовъ . . .

Петръ Дмитричъ не лгалъ. Ему было тяжело и въ самомъ дѣлѣ хотѣлось отдохнуть. И въ Полтавскую губернію ѣздилъ онъ только затѣмъ, чтобы не видѣть своего кабинета, прислуги, знакомыхъ и всего, что могло бы напоминать ему объ его раненомъ самолюбіи и ошибкахъ.

Любочка вдругъ вскочила и въ ужасѣ замахала руками.

— Ахъ, пчела, пчела! — взвизгнула она. — Укуситъ!

— Полноте, не укуситъ! — сказалъ Петръ Дмитричъ. — Какая вы трусиха!

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! — крикнула Любочка и, оглядываясь на пчелу, быстро пошла назадъ.

Петръ Дмитричъ уходилъ за нею и смотрѣлъ ей вслѣдъ съ умиленіемъ и грустью. Должно-быть, глядя на нее, онъ думалъ о своемъ хуторѣ, объ одиночествѣ и — кто знаетъ? — быть-можетъ, даже думалъ о томъ, какъ бы тепло и уютно жилось ему на хуторѣ, если бы женой его была эта дѣвочка — молодая, чистая, свѣжая, не испорченная курсами, не беременная . . .

Когда голоса и шаги затихли, Ольга Михайловна вышла изъ шалаша и направилась къ дому. Ей хотѣлось плакать. Она уже сильно ревновала мужа. Ей было понятно, что Петръ Дмитричъ утомился, былъ недоволенъ собой и стыдился, а

когда стыдятся, то прячутся прежде всего отъ близкихъ и откровенничаютъ съ чужими; ей было также понятно, что Любочка не опасна, какъ и всѣ тѣ женщины, которыя пили теперь въ домѣ кофе. Но въ общемъ все было непонятно, страшно, и Ольгѣ Михайловнѣ уже казалось, что Петръ Дмитричъ не принадлежитъ ей наполовину . . .

— Онъ не имѣетъ права! — бормотала она, стараясь осмыслить свою ревность и свою досаду на мужа. — Онъ не имѣетъ никакого права. Я ему сейчасъ все выскажу!

Она рѣшила сейчасъ же найти мужа и высказать ему все: гадко, безъ конца гадко, что онъ нравится чужимъ женщинамъ и добивается этого, какъ манны небесной; несправедливо и нечестно, что онъ отдаетъ чужимъ то, что по праву принадлежитъ его женѣ, прячетъ отъ жены свою душу и совѣсть, чтобы открывать ихъ первому встрѣчному хорошенькому личику. Что худого сдѣлала ему жена? Въ чемъ она провинилась? Наконецъ, давно уже надоѣло его лганье: онъ постоянно рисуется, кокетничаетъ, говоритъ не то, что думаетъ, и старается казаться не тѣмъ, что онъ есть и кѣмъ ему быть должно. Къ чему эта ложь? Пристала ли она порядочному человѣку? Если онъ лжетъ, то оскорбляетъ и себя, и тѣхъ, кому лжетъ, и не уважаетъ того, о чемъ лжетъ. Неужели ему не понятно, что если онъ кокетничаетъ и ломается за судейскимъ столомъ или, сидя за обѣдомъ, трактуетъ о прерогативахъ власти только для того, чтобы насолить дядѣ, неужели ему не понятно,

что этимъ самымъ онъ ставитъ ни въ грошъ и судъ, и себя, и всѣхъ, кто его слушаетъ и видитъ?

Выйдя на большую аллею, Ольга Михайловна придала себѣ такое выраженіе, какъ будто уходила сейчасъ по хозяйственнымъ надобностямъ. На террасѣ мужчины пили ликеръ и закусывали ягодами; одинъ изъ нихъ, судебный слѣдователь, толстый пожилой человѣкъ, балагуръ и острякъ, должно-быть, разсказывалъ какой-нибудь нецензурный анекдотъ, потому что, увидѣвъ хозяйку, онъ вдругъ схватилъ себя за жирныя губы, выпучилъ глаза и присѣлъ. Ольга Михайловна не любила уѣздныхъ чиновниковъ. Ей не нравились ихъ неуклюжія церемонныя жены, сплетни, частыя поѣздки въ гости, лесть передъ ея мужемъ, котораго всѣ они ненавидѣли. Теперь же, когда они пили, были сыты и не собирались уѣзжать, она чувствовала, что ихъ присутствіе утомительно до тоски, но, чтобы не показаться нелюбезной, она привѣтливо улыбнулась судебному слѣдователю и погрозила ему пальцемъ. Черезъ залу и гостиную она прошла улыбаясь и съ такимъ видомъ, какъ будто шла приказать что-то и распорядиться. «Не дай Богъ, если кто остановитъ!» — думала она, но сама заставила себя остановиться въ гостиной, чтобы изъ приличія послушать молодого человѣка, который сидѣлъ за піанино и игралъ; постоявъ минутку, она крикнула: «Браво, браво, m-r Жоржъ!» и, хлопнувъ два раза въ ладоши, пошла дальше.

Мужа нашла она въ кабинетѣ. Онъ сидѣлъ у стола и о чемъ-то думалъ. Лицо его было строго,

задумчиво и виновато. Это ужъ былъ не тотъ Петръ Дмитричъ, который спорилъ за обѣдомъ и котораго знаютъ гости, а другой — утомленный, виноватый и недовольный собой, котораго знаетъ одна только жена. Въ кабинетъ пришелъ онъ, должно-быть, для того, чтобы взять папиросъ. Передъ нимъ лежалъ открытый портсигаръ, набитый папиросами, и одна рука была опущена въ ящикъ стола. Какъ бралъ папиросы, такъ и застылъ.

Ольгѣ Михайловнѣ стало жаль его. Было ясно, какъ день, что человѣкъ томился и не находилъ мѣста, быть-можетъ, боролся съ собой. Ольга Михайловна молча подошла къ столу; желая показать, что она не помнитъ обѣденнаго спора и уже не сердится, она закрыла портсигаръ и положила его мужу въ боковой карманъ.

«Что сказать ему? — думала она. — Я скажу, что ложь тотъ же лѣсъ: чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ труднѣе выбраться изъ него. Я скажу: ты увлекся своею фальшивою ролью и зашелъ слишкомъ далеко; ты оскорбилъ людей, которые были къ тебѣ привязаны и не сдѣлали тебѣ никакого зла. Поди же, извинись передъ ними, посмѣйся надъ самимъ собой, и тебѣ станетъ легко. А если хочешь тишины и одиночества, то уѣдемъ отсюда вмѣстѣ».

Встрѣтясь глазами съ женой, Петръ Дмитричъ вдругъ придалъ своему лицу выраженіе, какое у него было за обѣдомъ и въ саду, — равнодушное и слегка насмѣшливое, зѣвнулъ и поднялся съ мѣста.

— Теперь шестой часъ, — сказалъ онъ, взглянувъ на часы. — Если гости смилостивятся и уѣдутъ въ одиннадцать, то и тогда намъ остается ждать еще шесть часовъ. Весело, нечего сказать.

И, что-то насвистывая, онъ медленно, своею обычною солидною походкой, вышелъ изъ кабинета. Слышно было, какъ онъ, солидно ступая, прошелъ черезъ залу, потомъ черезъ гостиную, чему-то солидно засмѣялся и сказалъ игравшему молодому человѣку: «бра-о! бра-о!» Скоро шаги его затихли; должно-быть, вышелъ въ садъ. И ужъ не ревность и не досада, а настоящая ненависть къ его шагамъ, неискреннему смѣху и голосу овладѣла Ольгой Михайловной. Она подошла къ окну и поглядѣла въ садъ. Петръ Дмитричъ шелъ уже по аллеѣ. Заложивъ одну руку въ карманъ и щелкая пальцами другой, слегка откинувъ назадъ голову, онъ шелъ солидно, въ развалку и съ такимъ видомъ, какъ будто былъ очень доволенъ и собой, и обѣдомъ, и пищевареніемъ, и природой . . .

На аллеѣ показались два маленькихъ гимназиста, дѣти помѣщицы Чижевской, только-что пріѣхавшіе, а съ ними студентъ-гувернеръ въ бѣломъ кителѣ и въ очень узкихъ брюкахъ. Поровнявшись съ Петромъ Дмитричемъ, дѣти и студентъ остановились и, вѣроятно, поздравили его съ ангеломъ. Красиво поводя плечами, онъ потрепалъ дѣтей за щеки и подалъ студенту руку небрежно, не глядя на него. Должно-быть, студентъ похвалилъ погоду и сравнилъ ее съ петербургской,

потому что Петръ Дмитричъ сказалъ громко и такимъ тономъ, какъ будто говорилъ не съ гостемъ, а съ судебнымъ приставомъ или со свидѣтелемъ:

— Что-съ? У васъ въ Петербургѣ холодно? А у насъ тутъ, батенька мой, благораствореніе воздуховъ и изобиліе плодовъ земныхъ. А? Что?

И, заложивъ въ карманъ одну руку и щелкнувъ пальцами другой, онъ зашагалъ дальше. Пока онъ не скрылся за кустами орѣшника, Ольга Михайловна все время смотрѣла ему въ затылокъ и недоумѣвала. Откуда у тридцатичетырехлѣтняго человѣка эта солидная, генеральская походка? Откуда тяжелая, красивая поступь? Откуда эта начальническая вибрація въ голосѣ, откуда всѣ эти «что-съ», «н-да-съ» и «батенька»?

Ольга Михайловна вспомнила, какъ она, чтобы не скучать одной дома, въ первые мѣсяцы замужества ѣздила въ городъ на съѣздъ, гдѣ иногда вмѣсто ея крестнаго отца, графа Алексѣя Петровича, предсѣдательствовалъ Петръ Дмитричъ. На предсѣдательскомъ креслѣ, въ мундирѣ и съ цѣпью на груди, онъ совершенно мѣнялся. Величественные жесты, громовый голосъ, «что-съ», «н-да-съ», небрежный тонъ... Все обыкновенное человѣческое, свое собственное, что привыкла видѣть въ немъ Ольга Михайловна дома, исчезало въ величіи, и на креслѣ сидѣлъ не Петръ Дмитричъ, а какой-то другой человѣкъ, котораго всѣ звали господиномъ предсѣдателемъ. Сознаніе, что онъ — власть, мѣшало ему покойно сидѣть на мѣстѣ, и онъ искалъ случая, чтобы позвонить, строго

взглянуть на публику, крикнуть . . . Откуда брались близорукость и глухота, когда онъ вдругъ начиналъ плохо видѣть и слышать и, величественно морщась, требовалъ, чтобы говорили громче и поближе подходили къ столу. Съ высоты величія онъ плохо различалъ лица и звуки, такъ что если бы, кажется, въ эти минуты подошла къ нему сама Ольга Михайловна, то онъ и ей бы крикнулъ: «Какъ ваша фамилія?» Свидѣтелямъ-крестьянамъ онъ говорилъ «ты», на публику кричалъ такъ, что его голосъ былъ слышенъ даже на улицѣ, а съ адвокатами держалъ себя невозможно. Если приходилось говорить присяжному повѣренному, то Петръ Дмитричъ сидѣлъ къ нему нѣсколько бокомъ и щурилъ глаза въ потолокъ, желая этимъ показать, что присяжный повѣренный тутъ вовсе не нуженъ, и что онъ его не признаетъ и не слушаетъ; если же говорилъ сѣро-одѣтый частный повѣренный, то Петръ Дмитричъ весь превращался въ слухъ и измѣрялъ повѣреннаго насмѣшливымъ, уничтожающимъ взглядомъ: вотъ, молъ, какіе теперь адвокаты! — «Что же вы хотите этимъ сказать?» — перебивалъ онъ. Если витіеватый повѣренный употреблялъ какое-нибудь иностранное слово и, напримѣръ, вмѣсто «фиктивный» произносилъ фактивный, то Петръ Дмитричъ вдругъ оживлялся и спрашивалъ: «Что-съ? Какъ? Фактивный? А что это значитъ?» и потомъ наставительно замѣчалъ: «Не употребляйте тѣхъ словъ, которыхъ вы не понимаете». И повѣренный, кончивъ свою рѣчь, отходилъ отъ стола красный

и весь въ поту, а Петръ Дмитричъ, самодовольно улыбаясь, торжествуя побѣду, откидывался на спинку кресла. Въ своемъ обращеніи съ адвокатами онъ нѣсколько подражалъ графу Алексѣю Петровичу, но у графа, когда тотъ, напримѣръ, говорилъ: «Защита, помолчите немножко!» — это выходило старчески-добродушно и естественно, у Петра же Дмитрича грубовато и натянуто.

II

Послышались аплодисменты. Это молодой человѣкъ кончилъ играть. Ольга Михайловна вспомнила про гостей и поторопилась въ гостиную.

— Я васъ заслушалась, — сказала она, подходя къ піанино. — Я васъ заслушалась. У васъ удивительныя способности! Но не находите ли вы, что нашъ піанино разстроенъ?

Въ это время въ гостиную входили два гимназиста и съ ними студентъ.

— Боже мой, Митя и Коля! — сказала протяжно и радостно Ольга Михайловна, идя къ нимъ навстрѣчу. — Какіе большіе стали! Даже не узнаешь васъ! А гдѣ же ваша мама?

— Поздравляю васъ съ именинникомъ, — началъ развязно студентъ: — и желаю всего лучшаго. Екатерина Андреевна поздравляетъ и проситъ извиненія. Она не совсѣмъ здорова.

— Какая же она не добрая! Я ее весь день ждала. А вы давно изъ Петербурга? — спросила Ольга Михайловна студента. — Какая теперь тамъ погода? — и, не дожидаясь отвѣта, она

ласково взглянула на гимназистовъ и повторила: — Какіе большіе выросли! Давно ли они пріѣзжали сюда съ нянею, а теперь уже гимназисты! Старое старится, а молодое растетъ . . . Вы обѣдали?

— Ахъ, не безпокойтесь, пожалуйста! — сказалъ студентъ.

— Вѣдь вы не обѣдали?

— Ради Бога, не безпокойтесь!

— Но вѣдь вы хотите ѣсть? — спросила Ольга Михайловна грубымъ и жесткимъ голосомъ, нетерпѣливо и съ досадой — это вышло у нея нечаянно, но тотчасъ же она закашлялась, улыбнулась, покраснѣла. — Какіе большіе выросли! — сказала она мягко.

— Не безпокойтесь, пожалуйста! — сказалъ еще разъ студентъ.

Студентъ просилъ не безпокоиться, дѣти молчали; очевидно, всѣ трое хотѣли ѣсть. Ольга Михайловна повела ихъ въ столовую и приказала Василію накрыть на столъ.

— Не добрая ваша мама! — говорила она, усаживая ихъ. — Совсѣмъ меня забыла. Не добрая, не добрая, не добрая... Такъ и скажите ей. А вы на какомъ факультетѣ? — спросила она у студента.

— На медицинскомъ.

— Ну, а у меня слабость къ докторамъ, представьте. Я очень жалѣю, что мой мужъ не докторъ. Какое надо имѣть мужество, чтобы, напримѣръ, дѣлать операціи или рѣзать трупы! Ужасно! Вы не боитесь? Я бы, кажется, умерла отъ страха. Вы, конечно, выпьете водки?

— Не безпокойтесь, пожалуйста.

— Съ дороги нужно, нужно выпить. Я женщина, да и то пью иногда. А Митя и Коля выпьютъ малаги. Вино слабенькое, не бойтесь. Какіе они, право, молодцы! Женить даже можно.

Ольга Михайловна говорила безъ умолку. Она по опыту знала, что, занимая гостей, гораздо легче и удобнѣе говорить, чѣмъ слушать. Когда говоришь, нѣтъ надобности напрягать вниманіе, придумывать отвѣты на вопросы и мѣнять выраженіе лица. Но она нечаянно задала какой-то серьезный вопросъ, студентъ сталъ говорить длинно, и ей поневолѣ пришлось слушать. Студентъ зналъ, что она когда-то была на курсахъ, а потому, обращаясь къ ней, старался казаться серьезнымъ.

— Вы на какомъ факультетѣ? — спросила она, забывъ, что однажды уже задавала этотъ вопросъ.

— На медицинскомъ.

Ольга Михайловна вспомнила, что давно уже не была съ дамами.

— Да? Значитъ, вы докторомъ будете? — сказала она, поднимаясь. — Это хорошо. Я жалѣю, что сама не пошла на медицинскіе курсы. Такъ вы тутъ обѣдайте, господа, и выходите въ садъ. Я васъ познакомлю съ барышнями.

Она вышла и взглянула на часы: было безъ пяти минутъ шесть. И она удивилась, что время идетъ такъ медленно, и ужаснулась, что до полуночи, когда разъѣдутся гости, осталось еще шесть часовъ. Куда убить эти шесть часовъ? Какія фразы говорить? Какъ держать себя съ мужемъ?

Въ гостиной и на террасѣ не было ни души. Всѣ гости разбрелись по саду.

«Нужно будетъ предложить имъ до чая прогулку въ березнякъ или катанье на лодкахъ, — думала Ольга Михайловна, торопясь къ крокету, откуда слышались голоса и смѣхъ. — А стариковъ усадить играть въ винтъ . . .»

Отъ крокета навстрѣчу ей шелъ лакей Григорій съ пустыми бутылками.

— Гдѣ же барыни? — спросила она.

— Въ малинникѣ. Тамъ и баринъ.

— А, Господи Боже мой! — съ ожесточеніемъ крикнулъ кто-то на крокетѣ. — Да я же тысячу разъ же говорилъ вамъ то же самое! Чтобы знать болгаръ, надо ихъ видѣть! Нельзя судить по газетамъ!

Отъ этого ли крика или отъ чего другого, Ольга Михайловна вдругъ почувствовала сильную слабость во всемъ тѣлѣ, особенно въ ногахъ и въ плечахъ. Ей вдругъ захотѣлось не говорить, не слышать, не двигаться.

— Григорій, — сказала она томно и съ усиліемъ: — когда вы будете подавать чай или что-нибудь, то, пожалуйста, не обращайтесь ко мнѣ, не спрашивайте, не говорите ни о чемъ . . . Дѣлайте все сами и . . . и не стучите ногами. Умоляю . . . Я не могу, потому что . . .

Она не договорила и пошла дальше къ крокету, но по дорогѣ вспомнила о барыняхъ и повернула къ малиннику. Небо, воздухъ и деревья попрежнему хмурились и обѣщали дождь; было жарко и

душно; громадныя стаи воронъ, предчувствуя непогоду, съ крикомъ носились надъ садомъ. Чѣмъ ближе къ огороду, тѣмъ аллеи становились запущеннѣе, темнѣе и уже; на одной изъ нихъ, прятавшейся въ густой заросли дикихъ грушъ, кислицъ, молодыхъ дубковъ, хмеля, цѣлыя облака мелкихъ черныхъ мошекъ окружили Ольгу Михайловну; она закрыла руками лицо и стала насильно воображать маленькаго человѣчка . . . Въ воображеніи пронеслись Григорій, Митя, Коля, лица мужиковъ, приходившихъ утромъ поздравлять . . .

Послышались чьи-то шаги, и она открыла глаза. Къ ней навстрѣчу быстро шелъ дядя Николай Николаичъ.

— Это ты, милая? Очень радъ . . . — началъ онъ задыхаясь. — На два слова . . . — Онъ вытеръ платкомъ свой бритый красный подбородокъ, потомъ вдругъ отступилъ шагъ назадъ, всплеснулъ руками и выпучилъ глаза. — Матушка, до какихъ же поръ это будетъ продолжаться? — заговорилъ онъ быстро, захлебываясь. — Я тебя спрашиваю: гдѣ границы? Не говорю уже о томъ, что его держимордовскіе взгляды деморализуютъ среду, что онъ оскорбляетъ во мнѣ и въ каждомъ честномъ, мыслящемъ человѣкѣ все святое и лучшее — не говорю, но пусть онъ будетъ хоть приличенъ! Что такое? Кричитъ, рычитъ, ломается, корчитъ изъ себя какого-то Бонапарта, не даетъ слова сказать . . . чортъ его знаетъ! Какіе-то величественные жесты, генеральскій смѣхъ, снисходительный тонъ! Да позвольте васъ спросить: кто онъ такой? Я тебя

спрашиваю: кто онъ такой? Мужъ своей жены, мелкопомѣстный титуляръ, которому посчастливилось жениться на богатой! Выскочка и юнкеръ, какихъ много! Щедринскій типъ! Клянусь Богомъ, что-нибудь изъ двухъ: или онъ страдаетъ маніей величія, или въ самомъ дѣлѣ права эта старая, выжившая изъ ума, крыса, графъ Алексѣй Петровичъ, когда говоритъ, что теперешнія дѣти и молодые люди поздно становятся взрослыми и до сорока лѣтъ играютъ въ извозчики и въ генералы!

— Это вѣрно, вѣрно . . . — согласилась Ольга Михайловна. — Позволь мнѣ пройти.

— Теперь ты разсуди, къ чему это поведетъ? — продолжалъ дядя, загораживая ей дорогу. — Чѣмъ кончится эта игра въ консерватизмъ и въ генералы? Уже подъ судъ попалъ! Попалъ! Я очень радъ! Докричался и достукался до того, что угодилъ на скамью подсудимыхъ. И не то чтобы окружный судъ или что, а судебная палата! Хуже этого, кажется, и придумать нельзя! Во-вторыхъ, со всѣми разссорился! Сегодня именины, а погляди: не пріѣхали ни Востряковъ, ни Яхонтовъ, ни Владиміровъ, ни Шевудъ, ни графъ . . . На что, кажется, консервативнѣе графа Алексѣя Петровича, да и тотъ не пріѣхалъ. И никогда больше не пріѣдетъ! Увидишь, что не пріѣдетъ!

— Ахъ, Боже мой, да я-то тутъ при чемъ? — спросила Ольга Михайловна.

— Какъ при чемъ? Ты его жена! Ты умна, была на курсахъ, и въ твоей власти сдѣлать изъ него честнаго работника!

— На курсахъ не учатъ, какъ вліять на тяжелыхъ людей. Я должна буду, кажется, просить у всѣхъ васъ извиненія, что была на курсахъ! — сказала Ольга Михайловна рѣзко. — Послушай, дядя, если у тебя цѣлый день надъ ухомъ будутъ играть однѣ и тѣ же гаммы, то ты не усидишь на мѣстѣ и сбѣжишь. Я ужъ круглый годъ по цѣлымъ днямъ слышу одно и то же, одно и то же. Господа, надо же, наконецъ, имѣть сожалѣніе!

Дядя сдѣлалъ очень серьезное лицо, потомъ пытливо поглядѣлъ на нее и покривилъ ротъ насмѣшливою улыбкой.

— Вотъ оно что! — пропѣлъ онъ старушечьимъ голосомъ. — Виноватъ-съ! — сказалъ онъ и церемонно раскланялся. — Если ты сама подпала подъ его вліяніе и измѣнила убѣжденія, то такъ бы и сказала раньше. Виноватъ-съ!

— Да, я измѣнила убѣжденія! — крикнула она — Радуйся!

— Виноватъ-съ!

Дядя въ послѣдній разъ церемонно поклонился какъ-то въ бокъ и, весь съежившись, шаркнулъ ногой и пошелъ назадъ.

«Дуракъ, — подумала Ольга Михайловна. — И ѣхалъ бы себѣ домой».

Дамъ и молодежь нашла она на огородѣ въ малинникѣ. Одни ѣли малину, другіе, кому уже надоѣла малина, бродили по грядамъ клубники или рылись въ сахарномъ горошкѣ. Нѣсколько въ сторонѣ отъ малинника, около вѣтвистой яблони, кругомъ подпертой палками, повыдерганными изъ

стараго палисадника, Петръ Дмитричъ косилъ траву. Волосы его падали на лобъ, галстукъ развязался, часовая цѣпочка выпала изъ петли. Въ каждомъ его шагѣ и взмахѣ косой чувствовались умѣнье и присутствіе громадной физической силы. Возлѣ него стояли Любочка и дочери сосѣда, полковника Букрѣева, Наталья и Валентина, или, какъ ихъ всѣ звали, Ната и Вата, анемичныя и болѣзненно-полныя блондинки лѣтъ 16—17, въ бѣлыхъ платьяхъ, поразительно похожія другъ на друга. Петръ Дмитричъ училъ ихъ косить.

— Это очень просто . . . — говорилъ онъ. — Нужно только умѣть держать косу и не горячиться, то-есть не употреблять силы больше, чѣмъ нужно. Вотъ такъ . . . Не угодно ли теперь вамъ? — предложилъ онъ косу Любочкѣ. — Ну-ка!

Любочка неумѣло взяла въ руки косу, вдругъ покраснѣла и засмѣялась.

— Не робѣйте, Любовь Александровна! — крикнула Ольга Михайловна такъ громко, чтобы ее могли слышать всѣ дамы и знать, что она съ ними. — Не робѣйте! Надо учиться! Выйдете за толстовца, косить заставитъ.

Любочка подняла косу, но опять засмѣялась и, обезсилѣвъ отъ смѣха, тотчасъ же опустила ее. Ей было стыдно и пріятно, что съ нею говорятъ, какъ съ большой. Ната, не улыбаясь и не робѣя, съ серьезнымъ, холоднымъ лицомъ, взяла косу, взмахнула и запутала ее въ травѣ; Вата, тоже не улыбаясь, серьезная и холодная, какъ сестра,

молча взяла косу и вонзила ее въ землю. Продѣлавъ это, обѣ сестры взялись подъ руки и молча пошли къ малинѣ.

Петръ Дмитричъ смѣялся и шалилъ, какъ мальчикъ, и это дѣтски-шаловливое настроеніе, когда онъ становился чрезмѣрно добродушенъ, шло къ нему гораздо болѣе, чѣмъ что-либо другое. Ольга Михайловна любила его такимъ. Но мальчишество его продолжалось обыкновенно недолго. Такъ и на этотъ разъ, пошаливъ съ косой, онъ почему-то нашелъ нужнымъ придать своей шалости серьезный оттѣнокъ.

— Когда я кошу, то чувствую себя, знаете ли, здоровѣе и нормальнѣе, — сказалъ онъ. — Если бы меня заставили довольствоваться одною только умственной жизнью, то я бы, кажется, съ ума сошелъ. Чувствую, что я не родился культурнымъ человѣкомъ! Мнѣ бы косить, пахать, сѣять, лошадей выѣзжать . . .

И у Петра Дмитрича съ дамами начался разговоръ о преимуществахъ физическаго труда, о культурѣ, потомъ о вредѣ денегъ, о собственности. Слушая мужа, Ольга Михайловна почему-то вспомнила о своемъ приданомъ.

«А вѣдь будетъ время, — подумала она: — когда онъ не проститъ мнѣ, что я богаче его. Онъ гордъ и самолюбивъ. Пожалуй, возненавидитъ меня за то, что многимъ обязанъ мнѣ».

Она остановилась около полковника Букрѣева, который ѣлъ малину и тоже принималъ участіе въ разговорѣ.

— Пожалуйте, — сказалъ онъ, давая дорогу Ольгѣ Михайловнѣ и Петру Дмитричу. — Тутъ самая спѣлая . . . Итакъ-съ, по мнѣнію Прудона, — продолжалъ онъ, возвысивъ голосъ: — собственность есть воровство. Но я, признаться, Прудона не признаю и философомъ его не считаю. Для меня французы не авторитетъ, Богъ съ ними!

— Ну, что касается Прудоновъ и всякихъ тамъ Боклей, то я тутъ швахъ, — сказалъ Петръ Дмитричъ. — Насчетъ философіи обращайтесь вотъ къ ней, къ моей супругѣ. Она была на курсахъ и всѣхъ этихъ Шопенгауэровъ и Прудоновъ насквозь . . .

Ольгѣ Михайловнѣ опять стало скучно. Она опять пошла по саду, по узкой тропиночкѣ, мимо яблонь и грушъ, и опять у нея былъ такой видъ, какъ будто шла она по очень важному дѣлу. А вотъ изба садовника . . . На порогѣ сидѣла жена садовника Варвара и ея четверо маленькихъ ребятишекъ съ большими стриженными головами. Варвара тоже была беременна и собиралась родить, по ея вычисленіямъ, къ Ильѣ пророку. Поздоровавшись, Ольга Михайловна молча оглядѣла ее и дѣтей и спросила:

— Ну, какъ ты себя чувствуешь?

— А ничего . . .

Наступило молчаніе. Обѣ женщины молча какъ будто понимали другъ друга.

— Страшно родить въ первый разъ, — сказала Ольга Михайловна, подумавъ: — мнѣ все кажется, что я не перенесу, умру.

— И мнѣ представлялось, да вотъ жива же . . . Мало ли чего!

Варвара, беременная уже въ пятый разъ и опытная, глядѣла на свою барыню нѣсколько свысока и говорила съ нею наставительнымъ тономъ, а Ольга Михайловна невольно чувствовала ея авторитетъ; ей хотѣлось говорить о своемъ страхѣ, о ребенкѣ, объ ощущеніяхъ, но она боялась, чтобы это не показалось Варварѣ мелочнымъ и наивнымъ. И она молчала и ждала, когда сама Варвара скажетъ что-нибудь.

— Оля, домой идемъ! — крикнулъ изъ малинника Петръ Дмитричъ.

Ольгѣ Михайловнѣ нравилось молчать, ждать и глядѣть на Варвару. Она согласилась бы простоять такъ, молча и безъ всякой надобности, до самой ночи. Но нужно было идти. Едва она отошла отъ избы, какъ ужъ къ ней навстрѣчу бѣжали Любочка, Вата и Ната. Двѣ послѣднія не добѣжали до нея на цѣлую сажень и обѣ разомъ остановились, какъ вкопанныя; Любочка же добѣжала и повисла къ ней на шею.

— Милая! Хорошая! Безцѣнная! — заговорила она, цѣлуя ее въ лицо и въ шею. — Поѣдемте чай пить на островъ!

— На островъ! На островъ! — сказали обѣ разомъ одинаковыя Вата и Ната, не улыбаясь.

— Но вѣдь дождь будетъ, мои милыя.

— Не будетъ, не будетъ! — крикнула Любочка, дѣлая плачущее лицо. — Всѣ согласны ѣхать! Милая, хорошая!

— Тамъ всѣ собираются ѣхать чай пить на островъ, — сказалъ Петръ Дмитричъ, подходя. — Распорядись... Мы всѣ поѣдемъ на лодкахъ, а самовары и все прочее надо отправить съ прислугой въ экипажѣ.

Онъ пошелъ рядомъ съ женой и взялъ ее подъ руку. Ольгѣ Михайловнѣ захотѣлось сказать мужу что-нибудь непріятное, колкое, хотя бы даже упомянуть о приданомъ, чѣмъ жестче, тѣмъ, казалось, лучше. Она подумала и сказала:

— Отчего это графъ Алексѣй Петровичъ не пріѣхалъ? Какъ жаль!

— Я очень радъ, что онъ не пріѣхалъ, — солгалъ Петръ Дмитричъ. — Мнѣ этотъ юродивый надоѣлъ пуще горькой рѣдьки.

— Но вѣдь ты до обѣда ждалъ его съ такимъ нетерпѣніемъ!

III

Черезъ полчаса всѣ гости уже толпились на берегу около свай, гдѣ были привязаны лодки. Всѣ много говорили, смѣялись и отъ излишней суеты никакъ не могли усѣсться въ лодки. Три лодки были уже биткомъ набиты пассажирами, а двѣ стояли пустыя. Отъ этихъ двухъ пропали куда-то ключи, и отъ рѣки то и дѣло бѣгали во дворъ посланные поискать ключей. Одни говорили, что ключи у Григорія, другіе — что они у приказчика, третьи совѣтовали призвать кузнеца и отбить замки. И всѣ говорили разомъ, перебивая и заглушая другъ друга. Петръ Дмитричъ нетерпѣливо шагалъ по берегу и кричалъ:

— Это чортъ знаетъ что такое! Ключи должны всегда лежать въ передней на окнѣ! Кто смѣлъ взять ихъ оттуда? Приказчикъ можетъ, если ему угодно, завести себѣ свою лодку!

Наконецъ, ключи нашлись. Тогда оказалось, что не хватаетъ двухъ веселъ. Снова поднялась суматоха. Петръ Дмитричъ, которому наскучило шагать, прыгнулъ въ узкій и длинный челнъ, выдолбленный изъ тополя, и, покачнувшись, едва не упавъ въ воду, отчалилъ отъ берега. За нимъ одна за другою, при громкомъ смѣхѣ и визгѣ барышенъ, поплыли и другія лодки.

Бѣлое облачное небо, прибрежныя деревья, камышъ и лодки съ людьми и съ веслами отражались въ водѣ, какъ въ зеркалѣ; подъ лодками, далеко въ глубинѣ, въ бездонной пропасти тоже было небо и летали птицы. Одинъ берегъ, на которомъ стояла усадьба, былъ высокъ, крутъ и весь покрытъ деревьями; на другомъ, отлогомъ, зеленѣли широкіе заливные луга и блестѣли заливы. Проплыли лодки саженей пятьдесятъ, и изъ-за печально склонившихся вербъ на отлогомъ берегу показались избы, стадо коровъ; стали слышаться пѣсни, пьяные крики и звуки гармоники.

Тамъ и сямъ по рѣкѣ шныряли челны рыболововъ, плывшихъ ставить на ночь свои переметы. Въ одномъ челнокѣ сидѣли подгулявшіе музыканты-любители и играли на самодѣлковыхъ скрипкахъ и віолончели.

Ольга Михайловна сидѣла у руля. Она привѣтливо улыбалась и много говорила, чтобы занять

гостей, а сама искоса поглядывала на мужа. Онъ плылъ на своемъ челнѣ впереди всѣхъ, стоя и работая однимъ весломъ. Легкій остроносый челнокъ, который всѣ гости звали душегубкой, а самъ Петръ Дмитричъ почему-то Пендеракліей, бѣжалъ быстро; онъ имѣлъ живое, хитрое выраженіе и, казалось, ненавидѣлъ тяжелаго Петра Дмитрича и ждалъ удобной минуты, чтобы выскользнуть изъ-подъ его ногъ. Ольга Михайловна посматривала на мужа, и ей были противны его красота, которая нравилась всѣмъ, затылокъ, его поза, фамильярное обращеніе съ женщинами; она ненавидѣла всѣхъ женщинъ, сидѣвшихъ въ лодкѣ, ревновала и въ то же время каждую минуту вздрагивала и боялась, чтобы валкій челнокъ не опрокинулся и не надѣлалъ бѣдъ.

— Тише, Петръ! — кричала она, и сердце ея замирало отъ страха. — Садись въ лодку! Мы и такъ вѣримъ, что ты смѣлъ!

Безпокоили ее и тѣ люди, которые сидѣли съ нею въ лодкѣ. Все это были обыкновенные, недурные люди, какихъ много, но теперь каждый изъ нихъ представлялся ей необыкновеннымъ и дурнымъ. Въ каждомъ она видѣла одну только неправду. «Вотъ, — думала она: — работаетъ весломъ молодой шатэнъ въ золотыхъ очкахъ и съ красивою бородкой, это богатый, сытый и всегда счастливый маменькинъ сынокъ, котораго всѣ считаютъ честнымъ, свободомыслящимъ, передовымъ человѣкомъ. Еще года нѣтъ, какъ онъ кончилъ въ университетѣ и пріѣхалъ на житье въ

уѣздъ, но ужъ говоритъ про себя: «Мы земскіе дѣятели». Но пройдетъ годъ, и онъ, какъ многіе другіе, соскучится, уѣдетъ въ Петербургъ и, чтобы оправдать свое бѣгство, будетъ всюду говорить, что земство никуда не годится и что онъ обманутъ. А съ другой лодки, не отрывая глазъ, глядитъ на него молодая жена и вѣритъ, что онъ «земскій дѣятель», какъ черезъ годъ повѣритъ тому, что земство никуда не годится. А вотъ полный, тщательно выбритый господинъ въ соломенной шляпѣ съ широкою лентой и съ дорогою сигарой въ зубахъ. Этотъ любитъ говорить: «Пора намъ бросить фантазіи и приняться за дѣло!» У него іоркширскія свиньи, бутлеровскіе ульи, рапсъ, ананасы, маслобойня, сыроварня, итальянская двойная бухгалтерія. Но каждое лѣто, чтобы осенью жить съ любовницей въ Крыму, онъ продаетъ на срубъ свой лѣсъ и закладываетъ по частямъ землю. А вотъ дядюшка Николай Николаичъ, который сердитъ на Петра Дмитрича и все-таки почему-то не уѣзжаетъ домой!

Ольга Михайловна поглядывала на другія лодки и тамъ она видѣла однихъ только неинтересныхъ чудаковъ, актеровъ или недалекихъ людей. Вспомнила она всѣхъ, кого только знала въ уѣздѣ, и никакъ не могла вспомнить ни одного такого человѣка, о которомъ могла бы сказать или подумать хоть что-нибудь хорошее. Всѣ, казалось ей, бездарны, блѣдны, недалеки, узки, фальшивы, безсердечны, всѣ говорили не то, что думали, и дѣлали не то, что хотѣли. Скука и отчаяніе

душили ее; ей хотѣлось вдругъ перестать улыбаться, вскочить и крикнуть: «Вы мнѣ надоѣли!» и потомъ прыгнуть изъ лодки и поплыть къ берегу.

— Господа, возьмемъ Петра Дмитрича на буксиръ! — крикнулъ кто-то.

— На буксиръ! На буксиръ! — подхватили остальные. — Ольга Михайловна, берите на буксиръ вашего мужа!

Чтобы взять на буксиръ, Ольга Михайловна, сидѣвшая у руля, должна была не пропустить момента и ловко схватить Пендераклію у носа за цѣпь. Когда она нагибалась за цѣпью, Петръ Дмитричъ поморщился и испуганно посмотрѣлъ на нее.

— Какъ бы ты не простудилась тутъ! — сказалъ онъ.

«Если ты боишься за меня и за ребенка, то зачѣмъ же ты меня мучишь?» — подумала Ольга Михайловна.

Петръ Дмитричъ призналъ себя побѣжденнымъ и, не желая плыть на буксирѣ, прыгнулъ съ Пендеракліи въ лодку, и безъ того ужъ набитую пассажирами, прыгнулъ такъ неаккуратно, что лодка сильно накренилась, и всѣ вскрикнули отъ ужаса.

«Это онъ прыгнулъ, чтобы нравиться женщинамъ, — подумала Ольга Михайловна. — Онъ знаетъ, что это красиво . . .»

У нея, какъ думала она, отъ скуки, досады, отъ напряженной улыбки и отъ неудобства, какое

чувствовалось во всемъ тѣлѣ, началась дрожь въ рукахъ и ногахъ. И чтобы скрыть отъ гостей эту дрожь, она старалась громче говорить, смѣяться, двигаться . . .

«Въ случаѣ, если я вдругъ заплачу, — думала она: — то скажу, что у меня болятъ зубы . . .»

Но вотъ, наконецъ, лодки пристали къ острову «Доброй Надежды». Такъ назывался полуостровъ, образовавшійся вслѣдствіе загиба рѣки подъ острымъ угломъ, покрытый старою рощей изъ березы, дуба, вербы и тополя. Подъ деревьями уже стояли столы, дымили самовары, и около посуды уже хлопотали Василій и Григорій, въ своихъ фракахъ и въ бѣлыхъ вязаныхъ перчаткахъ. На другомъ берегу, противъ «Доброй Надежды», стояли экипажи, пріѣхавшіе съ провизіей. Съ экипажей корзины и узлы съ провизіей переправлялись на островъ въ челнокѣ, очень похожемъ на Пендераклію. У лакеевъ, кучеровъ и даже у мужика, который сидѣлъ въ челнокѣ, выраженіе лицъ было торжественное, именинное, какое бываетъ только у дѣтей и прислуги.

Пока Ольга Михайловна заваривала чай и наливала первые стаканы, гости занимались наливкой и сладостями. Потомъ же началась суматоха, обычная на пикникахъ во время чаепитія, очень скучная и утомительная для хозяекъ. Едва Григорій и Василій успѣли разнести, какъ къ Ольгѣ Михайловнѣ уже потянулись руки съ пустыми стаканами. Одинъ просилъ безъ сахару, другой — покрѣпче, третій — пожиже, четвертый

благодарилъ. И все это Ольга Михайловна должна была помнить и потомъ кричать: «Иванъ Петровичъ, это вамъ безъ сахару?» или: «Господа, кто просилъ пожиже?» Но тотъ, кто просилъ пожиже или безъ сахару, ужъ не помнилъ этого и, увлекшись пріятными разговорами, бралъ первый попавшійся стаканъ. Въ сторонѣ отъ стола бродили, какъ тѣни, унылыя фигуры и дѣлали видъ, что ищутъ въ травѣ грибовъ или читаютъ этикеты на коробкахъ, — это тѣ, которымъ не хватило стакановъ. «Вы пили чай?» — спрашивала Ольга Михайловна, и тотъ, къ кому относился этотъ вопросъ, просилъ не безпокоиться и говорилъ: «Я подожду», хотя для хозяйки было удобнѣе, чтобы гости не ждали, а торопились.

Одни, занятые разговорами, пили чай медленно, задерживая у себя стаканы по получасу, другіе же, въ особенности кто много пилъ за обѣдомъ, не отходили отъ стола и выпивали стаканъ за стакановъ, такъ что Ольга Михайловна едва успѣвала наливать. Одинъ молодой шутникъ пилъ чай въ прикуску и все приговаривалъ: «Люблю, грѣшный человѣкъ, побаловать себя китайскою травкой». То и дѣло просилъ онъ съ глубокимъ вздохомъ: «Позвольте еще одну черепушечку!» Пилъ онъ много, сахаръ кусалъ громко и думалъ, что все это смѣшно и оригинально и что онъ отлично подражаетъ купцамъ. Никто не понималъ, что всѣ эти мелочи были мучительны для хозяйки, да и трудно было понять, такъ какъ Ольга Михайловна все время привѣтливо улыбалась и болтала вздоръ.

А она чувствовала себя нехорошо . . . Ее раздражали многолюдство, смѣхъ, вопросы, шутникъ, ошеломленные и сбившіеся съ ногъ лакеи, дѣти, вертѣвшіяся около стола; ее раздражало, что Вата похожа на Нату, Коля на Митю, и что не разберешь, кто изъ нихъ пилъ уже чай, а кто еще нѣтъ. Она чувствовала, что ея напряженная привѣтливая улыбка переходитъ въ злое выраженіе, и ей каждую минуту казалось, что она сейчасъ заплачетъ.

— Господа, дождь! — крикнулъ кто-то.

Всѣ посмотрѣли на небо.

— Да, въ самомъ дѣлѣ дождь . . . — подтвердилъ Петръ Дмитричъ и вытеръ щеку.

Небо уронило только нѣсколько капель, настоящаго дождя еще не было, но гости побросали чай и заторопились. Сначала всѣ хотѣли ѣхать въ экипажахъ, но раздумали и направились къ лодкамъ. Ольга Михайловна, подъ предлогомъ, что ей нужно поскорѣе распорядиться насчетъ ужина, попросила позволенія отстать отъ общества и ѣхать домой въ экипажѣ.

Сидя въ коляскѣ, она прежде всего дала отдохнуть своему лицу отъ улыбки. Съ злымъ лицомъ она ѣхала черезъ деревню и съ злымъ лицомъ отвѣчала на поклоны встрѣчныхъ мужиковъ. Пріѣхавъ домой, она прошла чернымъ ходомъ къ себѣ въ спальню и прилегла на постель мужа.

— Господи, Боже мой, — шептала она: — къ чему эта каторжная работа? Къ чему эти люди толкутся здѣсь и дѣлаютъ видъ, что имъ весело? Къ чему я улыбаюсь и лгу? Не понимаю, не понимаю!

Послышались шаги и голоса. Это вернулись гости.

«Пусть, — подумала Ольга Михайловна. — Я еще полежу».

Но въ спальню вошла горничная и сказала:

— Барыня, Марья Григорьевна уѣзжаетъ!

Ольга Михайловна вскочила, поправила прическу и поспѣшила изъ спальни.

— Марья Григорьевна, что же это такое? — начала она обиженнымъ голосомъ, идя навстрѣчу Марьѣ Григорьевнѣ. — Куда вы это торопитесь?

— Нельзя, голубчикъ, нельзя! Я и такъ уже засидѣлась. Меня дома дѣти ждутъ.

— Не добрая вы! Отчего же вы дѣтей съ собой не взяли?

— Милая, если позволите, я привезу ихъ къ вамъ какъ-нибудь въ будень, но сегодня . . .

— Ахъ, пожалуйста, — перебила Ольга Михайловна: — я буду очень рада! Дѣти у васъ такія милыя! Поцѣлуйте ихъ всѣхъ . . . Но, право, вы меня обижаете! Зачѣмъ торопиться, не понимаю!

— Нельзя, нельзя . . . Прощайте, милая. Берегите себя. Вы вѣдь въ такомъ теперь положеніи . . .

И обѣ поцѣловались. Проводивъ гостью до экипажа, Ольга Михайловна пошла въ гостиную къ дамамъ. Тамъ ужъ огни были зажжены, и мужчины усаживались играть въ карты.

IV

Гости стали разъѣзжаться послѣ ужина, въ четверть перваго. Провожая гостей, Ольга Михайловна стояла на крыльцѣ и говорила:

— Право, вы бы взяли шаль! Становится немножко свѣжо. Не дай Богъ, простудитесь!

— Не безпокойтесь, Ольга Михайловна! — отвѣчали гости, усаживаясь. — Ну, прощайте! Смотрите же, мы ждемъ васъ! Не обманите!

— Тпррр! — сдерживалъ кучеръ лошадей.

— Трогай, Денисъ! Прощайте, Ольга Михайловна!

— Дѣтей поцѣлуйте!

Коляска трогалась съ мѣста и тотчасъ же исчезала въ потемкахъ. Въ красномъ кругѣ, бросаемомъ лампою на дорогу, показывалась новая пара или тройка нетерпѣливыхъ лошадей и силуэтъ кучера съ протянутыми впередъ руками. Опять начинались поцѣлуи, упреки и просьбы пріѣхать еще разъ или взять шаль. Петръ Дмитричъ выбѣгалъ изъ передней и помогалъ дамамъ сѣсть въ коляску.

— Ты поѣзжай теперь на Ефремовщину, — училъ онъ кучера. — Черезъ Манькино ближе, да тамъ дорога хуже. Чего добраго, опрокинешь . . . Прощайте, моя прелесть! Mille compliments вашему художнику!

— Прощайте, душечка, Ольга Михайловна! Уходите въ комнаты, а то простудитесь! Сыро!

— Тпррр! Балуешься!

— Это какія же у васъ лошади? — спрашивалъ Петръ Дмитричъ.

— Въ Великомъ посту у Хайдарова купили, — отвѣчалъ кучеръ.

— Славные конячки . . .

И Петръ Дмитричъ хлопалъ пристяжную по крупу.

— Ну, трогай! Дай Богъ часъ добрый!

Наконецъ, уѣхалъ послѣдній гость. Красный кругъ на дорогѣ закачался, поплылъ въ сторону, сузился и погасъ — это Василій унесъ съ крыльца лампу. Въ прошлые разы обыкновенно, проводивъ гостей, Петръ Дмитричъ и Ольга Михайловна начинали прыгать въ залѣ другъ передъ другомъ, хлопать въ ладоши и пѣть: «Уѣхали! уѣхали! уѣхали!» Теперь же Ольгѣ Михайловнѣ было не до того. Она пошла въ спальню, раздѣлась и легла въ постель.

Ей казалось, что она уснетъ тотчасъ же и будетъ спать крѣпко. Ноги и плечи ея болѣзненно ныли, голова отяжелѣла отъ разговоровъ, и во всемъ гѣлѣ попрежнему чувствовалось какое-то неудобство. Укрывшись съ головой, она полежала минуты три, потомъ взглянула изъ-подъ одѣяла на лампадку, прислушалась къ тишинѣ и улыбнулась.

— Хорошо, хорошо . . . — зашептала она, подгибая ноги, которыя, казалось ей, оттого, что она много ходила, стали длиннѣе. — Спать, спать . . .

Ноги не укладывались, всему тѣлу было неудобно, и она повернулась на другой бокъ. По спальнѣ съ жужжаньемъ летала большая муха и безпокойно билась о потолокъ. Слышно было также, какъ въ залѣ Григорій и Василій, осторожно ступая, убирали столы; Ольгѣ Михайловнѣ стало казаться, что она уснетъ и ей будетъ удобно только тогда, когда утихнутъ эти звуки. И она опять нетерпѣливо повернулась на другой бокъ.

Послышался изъ гостиной голосъ мужа. Должно-быть, кто-нибудь остался ночевать, потому что Петръ Дмитричъ къ кому-то обращался и громко говорилъ:

— Я не скажу, чтобы графъ Алексѣй Петровичъ былъ фальшивый человѣкъ. Но онъ поневолѣ кажется такимъ, потому что всѣ вы, господа, стараетесь видѣть въ немъ не то, что онъ есть на самомъ дѣлѣ. Въ его юродивости видятъ оригинальный умъ, въ фамильярномъ обращеніи — добродушіе, въ полномъ отсутствіи взглядовъ видятъ консерватизмъ. Допустимъ даже, что онъ въ самомъ дѣлѣ консерваторъ восемьдесятъ четвертой пробы. Но что такое въ сущности консерватизмъ?

Петръ Дмитричъ, сердитый и на графа Алексѣя Петровича, и на гостей, и на самого себя, отводилъ теперь душу. Онъ бранилъ и графа, и гостей, и съ досады на самого себя готовъ былъ высказывать и проповѣдывать, что угодно. Проводивъ гостя, онъ походилъ изъ угла въ уголъ по гостиной, прошелся по столовой, по корридору, по кабинету, потомъ опять по гостиной, и вошелъ въ спальню. Ольга Михайловна лежала на спинѣ, укрытая одѣяломъ только по поясъ (ей уже казалось жарко) и со злымъ лицомъ слѣдила за мухой, которая стучала по потолку.

— Развѣ кто остался ночевать? — спросила она.

— Егоровъ.

Петръ Дмитричъ раздѣлся и легъ на свою постель. Онъ молча закурилъ папиросу и тоже сталъ слѣдить

за мухой. Взглядъ его былъ суровъ и безпокоенъ. Молча, минутъ пять Ольга Михайловна глядѣла на его красивый профиль. Ей казалось почему-то, что если бы мужъ вдругъ повернулся къ ней лицомъ и сказалъ: «Оля, мнѣ тяжело!», то она заплакала бы или засмѣялась, и ей стало бы легко. Она думала, что ноги ноютъ и всему ея тѣлу неудобно оттого, что у нея напряжена душа.

— Петръ, о чемъ ты думаешь? — спросила она.

— Такъ, ни о чемъ . . . — отвѣтилъ мужъ.

— У тебя въ послѣднее время завелись отъ меня какія-то тайны. Это нехорошо.

— Почему же нехорошо? — отвѣтилъ Петръ Дмитричъ сухо и не сразу. — У каждаго изъ насъ есть своя личная жизнь, должны быть и свои тайны поэтому.

— Личная жизнь, свои тайны . . . все это слова! Пойми, что ты меня оскорбляешь! — сказала Ольга Михайловна, поднимаясь и садясь на постели. — Если у тебя тяжело на душѣ, то почему ты скрываешь это отъ меня? И почему ты находишь болѣе удобнымъ откровенничать съ чужими женщинами, а не съ женой? Я вѣдь слышала, какъ ты сегодня на пасѣкѣ изливался передъ Любочкой.

— Ну, и поздравляю. Очень радъ, что слышала.

Это значило: оставь меня въ покоѣ, не мѣшай мнѣ думать! Ольга Михайловна возмутилась. Досада, ненависть и гнѣвъ, которые накоплялись у нея въ теченіе дня, вдругъ точно запѣнились; ей хотѣлось сейчасъ же, не откладывая до завтра,

высказать мужу все, оскорбить его, отомстить... Дѣлая надъ собой усилія, чтобы не кричать, она сказала:

— Такъ знай же, что все это гадко, гадко и гадко! Сегодня я ненавидѣла тебя весь день, — вотъ что ты надѣлалъ!

Петръ Дмитричъ тоже поднялся и сѣлъ.

— Гадко, гадко, гадко! — продолжала Ольга Михайловна, начиная дрожать всѣмъ тѣломъ. — Меня нечего поздравлять! Поздравь ты лучше самого себя! Стыдъ, срамъ! Долгался до такой степени, что стыдишься оставаться съ женой въ одной комнатѣ! Фальшивый ты человѣкъ! Я вижу тебя насквозь и понимаю каждый твой шагъ!

— Оля, когда ты бываешь не въ духѣ, то, пожалуйста, предупреждай меня. Тогда я буду спать въ кабинетѣ.

Сказавши это, Петръ Дмитричъ взялъ подушку и вышелъ изъ спальни. Ольга Михайловна не предвидѣла этого. Нѣсколько минутъ она молча, съ открытымъ ртомъ и дрожа всѣмъ тѣломъ, глядѣла на дверь, за которою скрылся мужъ, и старалась понять, что значитъ это. Есть ли это одинъ изъ тѣхъ пріемовъ, которые употребляютъ въ спорахъ фальшивые люди, когда бываютъ неправы, или же это оскорбленіе, обдуманно нанесенное ея самолюбію? Какъ понять? Ольгѣ Михайловнѣ припомнился ея двоюродный братъ, офицеръ, веселый малый, который часто со смѣхомъ разсказывалъ ей, что когда ночью «супружница начинаетъ пилить» его, то онъ обыкновенно беретъ

подушку и, посвистывая, уходитъ къ себѣ въ кабинетъ, а жена остается въ глупомъ и смѣшномъ положеніи. Этотъ офицеръ женатъ на богатой, капризной и глупой женщинѣ, которую онъ не уважаетъ и только терпитъ.

Ольга Михайловна вскочила съ постели. По ея мнѣнію, теперь ей оставалось только одно: поскорѣй одѣться и навсегда уѣхать изъ этого дома. Домъ былъ ея собственный, но тѣмъ хуже для Петра Дмитрича. Не разсуждая, нужно это или нѣтъ, она быстро пошла въ кабинетъ, чтобы сообщить мужу о своемъ рѣшеніи («Бабья логика!» — мелькнуло у нея въ мысляхъ) и сказать ему на прощанье еще что-нибудь оскорбительное, ѣдкое . . .

Петръ Дмитричъ лежалъ на диванѣ и дѣлалъ видъ, что читаетъ газету. Возлѣ него на стулѣ горѣла свѣча. Изъ-за газеты не было видно его лица.

— Потрудитесь мнѣ объяснить, что это значитъ? Я васъ спрашиваю!

— Васъ . . . — передразнилъ Петръ Дмитричъ, не показывая лица. — Надоѣло, Ольга! Честное слово, я утомленъ и мнѣ теперь не до этого . . . Завтра будемъ браниться.

— Нѣтъ, я тебя отлично понимаю! — продолжала Ольга Михайловна. — Ты меня ненавидишь! Да, да! Ты меня ненавидишь за то, что я богаче тебя! Ты никогда не простишь мнѣ этого и всегда будешь лгать мнѣ! («Бабья логика!» — опять мелькнуло въ ея мысляхъ). Сейчасъ, я знаю, ты смѣешься надо мной . . . Я даже увѣрена, что ты и женился на мнѣ только затѣмъ,

чтобы имѣть цензъ и этихъ подлыхъ лошадей . . . О, я несчастная!

Петръ Дмитричъ уронилъ газету и приподнялся. Неожиданное оскорбленіе ошеломило его. Онъ дѣтски-безпомощно улыбнулся, растерянно поглядѣлъ на жену и, точно защищая себя отъ ударовъ, протянулъ къ ней руки и сказалъ умоляюще:

— Оля!

И ожидая, что она скажетъ еще что-нибудь ужасное, онъ прижался къ спинкѣ дивана, и вся его большая фигура стала казаться такою же безпомощно-дѣтскою, какъ и улыбка.

— Оля, какъ ты могла это сказать? — прошепталъ онъ.

Ольга Михайловна опомнилась. Она вдругъ почувствовала свою безумную любовь къ этому человѣку, вспомнила, что онъ ея мужъ, Петръ Дмитричъ, безъ котораго она не можетъ прожить ни одного дня, и который ее любитъ тоже безумно. Она зарыдала громко, не своимъ голосомъ, схватила себя за голову и побѣжала назадъ въ спальню.

Она упала въ постель, и мелкія, истеричныя рыданія, мѣшающія дышать, отъ которыхъ сводитъ руки и ноги, огласили спальню. Вспомнивъ, что черезъ три-четыре комнаты ночуетъ гость, она спрятала голову подъ подушку, чтобы заглушить рыданія, но подушка свалилась на полъ, и сама она едва не упала, когда нагнулась за ней; потянула она къ лицу одѣяло, но руки не слушались и судорожно рвали все, за что она хваталась.

Ей казалось, что все уже пропало, что неправда, которую она сказала для того, чтобы оскорбить мужа, разбила вдребезги всю ея жизнь. Мужъ не проститъ ея. Оскорбленіе, которое она нанесла ему, такого сорта, что его не сгладишь никакими ласками, ни клятвами . . . Какъ она убѣдитъ мужа, что сама не вѣрила тому, что говорила?

— Кончено, кончено! — кричала она, не замѣчая, что подушка опять свалилась на полъ. — Ради Бога, ради Бога!

Должно-быть, разбуженные ея криками, уже проснулись гость и прислуга; завтра весь уѣздъ будетъ знать, что съ нею была истерика, и всѣ обвинятъ въ этомъ Петра Дмитрича. Она дѣлала усилія, чтобы сдержать себя, но рыданія съ каждою минутой становились все громче и громче.

— Ради Бога! — кричала она не своимъ голосомъ и не понимала, для чего кричитъ это. — Ради Бога!

Ей показалось, что подъ нею провалилась кровать и ноги завязли въ одѣялѣ. Вошелъ въ спальню Петръ Дмитричъ въ халатѣ и со свѣчой въ рукахъ.

— Оля, полно! — сказалъ онъ.

Она поднялась и, стоя въ постели на колѣняхъ, жмурясь отъ свѣчи, выговорила сквозь рыданія:

— Пойми . . . пойми . . .

Ей хотѣлось сказать, что ее замучили гости, его ложь, ея ложь, что у нея накипѣло, но она могла только выговорить:

— Пойми . . . пойми!

— На, выпей! — сказалъ онъ, подавая ей воды.

Она послушно взяла стаканъ и стала пить, но вода расплескалась и полилась ей на руки, грудь, колѣни . . . «Должно-быть, я теперь ужасно безобразна!» — подумала она. Петръ Дмитричъ молча уложилъ ее въ постель и укрылъ одѣяломъ, потомъ взялъ свѣчу и вышелъ.

— Ради Бога! — крикнула опять Ольга Михайловна. — Петръ, пойми, пойми!

Вдругъ что-то сдавило ее внизу живота и спины съ такою силой, что плачъ ея оборвался, и она отъ боли укусила подушку. Но боль тотчасъ же отпустила ее, и она опять зарыдала.

Вошла горничная и, поправляя на ней одѣяло, спросила встревоженно:

— Барыня, голубушка, что съ вами?

— Убирайтесь отсюда! — строго сказалъ Петръ Дмитричъ, подходя къ постели.

— Пойми, пойми . . . — начала Ольга Михайловна.

— Оля, прошу тебя, успокойся! — сказалъ онъ. — Я не хотѣлъ тебя обидѣть. Я не ушелъ бы изъ спальни, если бы зналъ, что это на тебя такъ подѣйствуетъ. Мнѣ просто было тяжело. Говорю тебѣ, какъ честный человѣкъ . . .

— Пойми . . . Ты лгалъ, я лгала . . .

— Я понимаю . . . Ну, ну, будетъ! Я понимаю . . . — говорилъ Петръ Дмитричъ нѣжно, садясь на ея постель. — То сказала ты сгоряча, понятно . . . Клянусь Богомъ, я люблю тебя больше всего на

свѣтѣ и, когда женился на тебѣ, ни разу не вспомнилъ, что ты богата. Я безконечно любилъ и только . . . Увѣряю тебя. Никогда я не нуждался и не зналъ цѣны деньгамъ, а потому не умѣю чувствовать разницу между твоимъ состояніемъ и моимъ. Мнѣ всегда казалось, что мы одинаково богаты. А что я въ мелочахъ фальшивилъ, то это . . . конечно, правда. Жизнь у меня до сихъ поръ была устроена такъ несерьезно, что какъ-то нельзя было обойтись безъ мелкой лжи. Мнѣ теперь самому тяжело. Оставимъ этотъ разговоръ, Бога ради! . .

Ольга Михайловна опять почувствовала сильную боль и схватила мужа за рукавъ.

— Больно . . . больно, больно . . . — сказала она быстро. — Ахъ, больно!

— Чортъ бы взялъ этихъ гостей! — пробормоталъ Петръ Дмитричъ, поднимаясь. — Ты не должна была ѣздить сегодня на островъ! — крикнулъ онъ. — И какъ это я, дуракъ, не остановилъ тебя? Господи, Боже мой!

Онъ досадливо почесалъ себѣ голову, махнулъ рукой и вышелъ изъ спальни.

Потомъ онъ нѣсколько разъ входилъ, садился къ ней на кровать и говорилъ много, то очень нѣжно, то сердито, но она плохо слышала его. Рыданія чередовались у нея съ страшною болью, и каждая новая боль была сильнѣе и продолжительнѣе. Сначала во время боли она задерживала дыханіе и кусала подушку, но потомъ стала кричать неприличнымъ, раздирающимъ голосомъ. Разъ,

увидѣвъ около себя мужа, она вспомнила, что оскорбила его и, не разсуждая, бредъ ли это, или настоящій Петръ Дмитричъ, схватила обѣими руками его руку и стала цѣловать ее.

— Ты лгалъ, я лгала ... — начала она оправдываться. — Пойми, пойми ... Меня замучили, вывели изъ терпѣнья ...

— Оля, мы тутъ не одни! — сказалъ Петръ Дмитричъ.

Ольга Михайловна приподняла голову и увидѣла Варвару, которая стояла на колѣняхъ около комода и выдвигала нижній ящикъ. Верхніе ящики были уже выдвинуты. Кончивъ съ комодомъ, Варвара поднялась и, красная отъ напряженія, съ холоднымъ, торжественнымъ лицомъ, принялась отпирать шкатулку.

— Марья, не отопру! — сказала она шопотомъ. — Отопри, что ли.

Горничная Марья ковыряла ножницами въ подсвѣчникѣ, чтобы вставить новую свѣчу; она подошла къ Варварѣ и помогла ей отпереть шкатулку.

— Чтобъ ничего запертаго не было ... — шептала Варвара. — Отопри, мать моя, и этотъ коробокъ. Баринъ, — обратилась она къ Петру Дмитричу: — вы бы послали къ отцу Михаилу, чтобъ царскія врата отперъ! Надо!

— Дѣлайте, что хотите, — сказалъ Петръ Дмитричъ, прерывисто дыша: — только ради Бога скорѣй доктора или акушерку! Поѣхалъ Василій? Пошли еще кого-нибудь. Пошли своего мужа!

«Я рожу», — сообразила Ольга Михайловна. — Варвара, — простонала она: — но вѣдь онъ родится неживой!

— Ничего, ничего, барыня . . . — зашептала Варвара. — Богъ дастъ, живой бундить (такъ она выговаривала слово «будетъ»)! Бундить живой.

Когда Ольга Михайловна въ другой разъ очнулась отъ боли, то ужъ не рыдала и не металась, а только стонала. Отъ стоновъ она не могла удержаться даже въ тѣ промежутки, когда не было боли. Свѣчи еще горѣли, но уже сквозь шторы пробивался утренній свѣтъ. Было, вѣроятно, около пяти часовъ утра. Въ спальнѣ за круглымъ столикомъ сидѣла какая-то незнакомая женщина въ бѣломъ фартукѣ и съ очень скромною физіономіей. По выраженію ея фигуры видно было, что она давно уже сидитъ. Ольга Михайловна догадалась, что это акушерка.

— Скоро кончится? — спросила она и въ своемъ голосѣ услышала какую-то особую, незнакомую ноту, какой раньше у нея никогда не было. «Должно-быть, я умираю отъ родовъ», — подумала она.

Въ спальню осторожно вошелъ Петръ Дмитричъ, одѣтый, какъ днемъ, и сталъ у окна, спиной къ женѣ. Онъ приподнялъ штору и поглядѣлъ въ окно.

— Какой дождь! — сказалъ онъ.

— А который часъ? — спросила Ольга Михайловна, чтобы еще разъ услышать въ своемъ голосѣ незнакомую нотку.

— Безъ четверти шесть, — отвѣчала акушерка.

«А что, если я въ самомъ дѣлѣ умираю? — подумала Ольга Михайловна, глядя на голову мужа и на оконныя стекла, по которымъ стучалъ дождь. — Какъ онъ безъ меня будетъ жить? Съ кѣмъ онъ будетъ чай пить, обѣдать, разговаривать по вечерамъ, спать?»

И онъ показался ей маленькимъ, осиротѣвшимъ; ей стало жаль его и захотѣлось сказать ему что-нибудь пріятное, ласковое, утѣшительное. Она вспомнила, какъ онъ весною собирался купить себѣ гончихъ, и какъ она, находя охоту забавой жестокой и опасной, помѣшала ему сдѣлать это.

— Петръ, купи себѣ гончихъ! — простонала она.

Онъ опустилъ штору и подошелъ къ постели, хотѣлъ что-то сказать, но въ это время Ольга Михайловна почувствовала боль и вскрикнула неприличнымъ, раздирающимъ голосомъ.

Отъ боли, частыхъ криковъ и стоновъ она отупѣла. Она слышала, видѣла, иногда говорила, но плохо понимала и сознавала только, что ей больно или сейчасъ будетъ больно. Ей казалось, что именины были уже давно-давно, не вчера, а какъ будто годъ назадъ, и что ея новая болевая жизнь продолжается дольше, чѣмъ ея дѣтство, ученье въ институтѣ, курсы, замужество, и будетъ продолжаться еще долго-долго, безъ конца. Она видѣла, какъ акушеркѣ принесли чай, какъ позвали ее въ полдень завтракать, а потомъ обѣдать; видѣла, какъ Петръ Дмитричъ привыкъ входить, стоять подолгу у окна и выходить, какъ привыкли

входить какіе-то чужіе мужчины, горничная, Варвара . . . Варвара говорила только «бундить, бундить» и сердилась, когда кто-нибудь задвигалъ ящики въ комодѣ. Ольга Михайловна видѣла, какъ въ комнатѣ и въ окнахъ мѣнялся свѣтъ: то онъ былъ сумеречный, то мутный, какъ туманъ, то ясный, дневной, какой былъ вчера за обѣдомъ, то опять сумеречный . . . И каждая изъ этихъ перемѣнъ продолжалась такъ же долго, какъ дѣтство, ученье въ институтѣ, курсы . . .

Вечеромъ два доктора — одинъ костлявый, лысый, съ широкою рыжею бородою, другой съ еврейскимъ лицомъ, черномазый и въ дешевыхъ очкахъ — дѣлали Ольгѣ Михайловнѣ какую-то операцію. Къ тому, что чужіе мужчины касались ея тѣла, она относилась совершенно равнодушно. У нея уже не было ни стыда, ни воли, и каждый могъ дѣлать съ нею, что хотѣлъ. Если бы въ это время кто-нибудь бросился на нее съ ножомъ, или оскорбилъ Петра Дмитрича, или отнялъ бы у нея права на маленькаго человѣчка, то она не сказала бы ни одного слова.

Во время операціи ей дали хлороформу. Когда она потомъ проснулась, боли все еще продолжались и были невыносимы. Была ночь. И Ольга Михайловна вспомнила, что точно такая же ночь съ тишиною, съ лампадкой, съ акушеркой, неподвижно сидящей у постели, съ выдвинутыми ящиками комода, съ Петромъ Дмитричемъ, стоящимъ у окна, была уже, но когда-то очень, очень давно . . .

V

«Я не умерла» . . . — подумала Ольга Михайловна, когда опять стала понимать окружающее и когда болей уже не было.

Въ два настежь открытыя окна спальни глядѣлъ ясный лѣтній день; въ саду за окнами, не умолкая ни на одну секунду, кричали воробьи и сороки.

Ящики въ комодѣ были уже заперты, постель мужа прибрана. Не было въ спальнѣ ни акушерки, ни Варвары, ни горничной; одинъ только Петръ Дмитричъ попрежнему стоялъ неподвижно у окна и глядѣлъ въ садъ. Не слышно было дѣтскаго плача, никто не поздравлялъ и не радовался, очевидно, маленькій человѣчекъ родился неживой.

— Петръ! — окликнула Ольга Михайловна мужа.

Петръ Дмитричъ оглянулся. Должно-быть, съ того времени, какъ уѣхалъ послѣдній гость и Ольга Михайловна оскорбила своего мужа, прошло очень много времени, такъ какъ Петръ Дмитричъ замѣтно осунулся и похудѣлъ.

— Что тебѣ? — спросилъ онъ, подойдя къ постели.

Онъ глядѣлъ въ сторону, шевелилъ губами и улыбался дѣтски-безпомощно.

— Все уже кончилось? — спросила Ольга Михайловна.

Петръ Дмитричъ хотѣлъ что-то отвѣтить, но губы его задрожали, и ротъ покривился старчески, какъ у беззубаго дяди Николая Николаича.

— Оля! — сказалъ онъ, ломая руки, и изъ глазъ его вдругъ брызнули крупныя слезы. — Оля! Не нужно мнѣ ни твоего ценза, ни съѣздовъ

(онъ всхлипнулъ)... ни особыхъ мнѣній, ни этихъ гостей, ни твоего приданаго... ничего мнѣ не нужно! Зачѣмъ мы не берегли нашего ребенка? Ахъ, да что говорить!

Онъ махнулъ рукой и вышелъ изъ спальни.

А для Ольги Михайловны было уже рѣшительно все равно. Въ головѣ у нея стоялъ туманъ отъ хлороформа, на душѣ было пусто... То тупое равнодушіе къ жизни, какое было у нея, когда два доктора дѣлали ей операцію, все еще не покидало ея.

БЕЗЪ ЗАГЛАВІЯ

Въ V вѣкѣ, какъ и теперь, каждое утро вставало солнце и каждый вечеръ оно ложилось спать. Утромъ, когда съ росою цѣловались первые лучи, земля оживала, воздухъ наполнялся звуками радости, восторга и надежды, а вечеромъ та же земля затихала и тонула въ суровыхъ потемкахъ. День походилъ на день, ночь на ночь. Изрѣдка набѣгала туча и сердито гремѣлъ громъ, или падала съ неба зазѣвавшаяся звѣзда, или пробѣгалъ блѣдный монахъ и разсказывалъ братіи, что недалеко отъ монастыря онъ видѣлъ тигра — и только, а потомъ опять день походилъ на день, ночь на ночь.

Монахи работали и молились Богу, а ихъ настоятель старикъ игралъ на органѣ, сочинялъ латинскіе стихи и писалъ ноты. Этотъ чудный старикъ обладалъ необычайнымъ даромъ. Онъ игралъ на органѣ съ такимъ искусствомъ, что даже самые старые монахи, у которыхъ къ концу жизни притупился слухъ, не могли удержать слезъ, когда изъ его кельи доносились звуки органа. Когда онъ говорилъ о чемъ-нибудь, даже самомъ обыкновенномъ, напримѣръ, о деревьяхъ, звѣряхъ, или о морѣ, его нельзя было слушать безъ улыбки

или безъ слезъ, и казалось, что въ душѣ его звучали такія же струны, какъ и въ органѣ. Если же онъ гнѣвался, или предавался сильной радости, или начиналъ говорить о чемъ-нибудь ужасномъ и великомъ, то страстное вдохновеніе овладѣвало имъ, на сверкающихъ глазахъ выступали слезы, лицо румянилось, голосъ гремѣлъ, какъ громъ, и монахи, слушая его, чувствовали, какъ его вдохновеніе сковывало ихъ души; въ такія великолѣпныя, чудныя минуты власть его бывала безгранична, и если бы онъ приказалъ своимъ старцамъ броситься въ море, то они всѣ до одного съ восторгомъ поспѣшили бы исполнить его волю.

Его музыка, голосъ и стихи, въ которыхъ онъ славилъ Бога, небо и землю, были для монаховъ источникомъ постоянной радости. Бывало такъ, что при однообразіи жизни имъ прискучивали деревья, цвѣты, весна, осень, шумъ моря утомлялъ ихъ слухъ, становилось непріятнымъ пѣніе птицъ, но таланты старика-настоятеля, подобно хлѣбу, нужны были каждый день.

Проходили десятки лѣтъ, и все день походилъ на день, ночь на ночь. Кромѣ дикихъ птицъ и звѣрей, около монастыря не показывалась ни одна душа. Ближайшее человѣческое жилье находилось далеко и, чтобы пробраться къ нему отъ монастыря или отъ него въ монастырь, нужно было пройти верстъ сто пустыней. Проходить пустыню рѣшались только люди, которые презирали жизнь, отрекались отъ нея и шли въ монастырь, какъ въ могилу.

Каково же поэтому было удивленіе монаховъ, когда однажды ночью въ ихъ ворота постучался человѣкъ, который оказался горожаниномъ и самымъ обыкновеннымъ грѣшникомъ, любящимъ жизнь! Прежде чѣмъ попросить у настоятеля благословенія и помолиться, этотъ человѣкъ потребовалъ вина и ѣсть. На вопросъ, какъ онъ попалъ изъ города въ пустыню, онъ отвѣчалъ длинной охотничьей исторіей: пошелъ на охоту, выпилъ лишнее и заблудился. На предложеніе поступить въ монахи и спасти свою душу, онъ отвѣтилъ улыбкой и словами: «Я вамъ не товарищъ».

Наѣвшись и напившись, онъ оглядѣлъ монаховъ, которые прислуживали ему, покачалъ укоризненно головой и сказалъ:

— Ничего вы не дѣлаете, монахи. Только и знаете, что ѣдите да пьете. Развѣ такъ спасаютъ душу? Подумайте: въ то время, какъ вы сидите тутъ въ покоѣ, ѣдите, пьете и мечтаете о блаженствѣ, ваши ближніе погибаютъ и идутъ въ адъ. Поглядите-ка, что дѣлается въ городѣ! Одни умираютъ съ голоду, другіе, не зная, куда дѣвать свое золото, топятъ себя въ развратѣ и гибнутъ, какъ мухи, вязнущія въ меду. Нѣтъ въ людяхъ ни вѣры, ни правды! Чье же дѣло спасать ихъ? Чье дѣло проповѣдывать? Не мнѣ ли, который отъ утра до вечера пьянъ? Развѣ смиренный духъ, любящее сердце и вѣру Богъ далъ вамъ на то, чтобы вы сидѣли здѣсь въ четырехъ стѣнахъ и ничего не дѣлали?

Пьяныя слова горожанина были дерзки и неприличны, но страннымъ образомъ подѣйствовали на настоятеля. Старикъ переглянулся со своими монахами, поблѣднѣлъ и сказалъ:

— Братья, а вѣдь онъ правду говоритъ! Въ самомъ дѣлѣ, бѣдные люди по неразумію и слабости гибнутъ въ порокѣ и невѣріи, а мы не двигаемся съ мѣста, какъ будто насъ это не касается. Отчего бы мнѣ не пойти и не напомнить имъ о Христѣ, котораго они забыли?

Слова горожанина увлекли старика; на другой же день онъ взялъ свою трость, простился съ братіей и отправился въ городъ. И монахи остались безъ музыки, безъ его рѣчей и стиховъ.

Проскучали они мѣсяцъ, другой, а старикъ не возвращался. Наконецъ, послѣ третьяго мѣсяца послышался знакомый стукъ его трости. Монахи бросились къ нему навстрѣчу и осыпали его вопросами, но онъ вмѣсто того, чтобы обрадоваться имъ, горько заплакалъ и не сказалъ ни одного слова. Монахи замѣтили: онъ сильно состарился и похудѣлъ; лицо его было утомлено и выражало глубокую скорбь, а когда онъ заплакалъ, то имѣлъ видъ человѣка, котораго оскорбили.

Монахи тоже заплакали и съ участіемъ стали разспрашивать, зачѣмъ онъ плачетъ, отчего лицо его такъ угрюмо, но онъ не сказалъ ни слова и заперся въ своей кельѣ. Семь дней сидѣлъ онъ у себя, ничего не ѣлъ, не пилъ, не игралъ на органѣ и плакалъ. На стукъ въ его дверь и на просьбы

монаховъ выйти и подѣлиться съ ними своею печалью онъ отвѣчалъ глубокимъ молчаніемъ.

Наконецъ, онъ вышелъ. Собравъ вокругъ себя всѣхъ монаховъ, онъ съ заплаканнымъ лицомъ и съ выраженіемъ скорби и негодованія началъ разсказывать о томъ, что было съ нимъ въ послѣдніе три мѣсяца. Голосъ его былъ спокоенъ, и глаза улыбались, когда онъ описывалъ свой путь отъ монастыря до города. На пути, говорилъ онъ, ему пѣли птицы, журчали ручьи, и сладкія, молодыя надежды волновали его душу; онъ шелъ и чувствовалъ себя солдатомъ, который идетъ на бой и увѣренъ въ побѣдѣ; мечтая, онъ шелъ и слагалъ стихи и гимны и не замѣтилъ, какъ кончился путь.

Но голосъ его дрогнулъ, глаза засверкали, и весь онъ распалился гнѣвомъ, когда сталъ говорить о городѣ и людяхъ. Никогда въ жизни онъ не видѣлъ, даже не дерзалъ воображать себѣ то, что онъ встрѣтилъ, войдя въ городъ. Только тутъ первый разъ въ жизни, на старости лѣтъ, онъ увидѣлъ и понялъ, какъ могучъ дьяволъ, какъ прекрасно зло и какъ слабы, малодушны и ничтожны люди. По несчастной случайности, первое жилище, въ которое онъ вошелъ, былъ домъ разврата. Съ полсотни человѣкъ, имѣющихъ много денегъ, ѣли и безъ мѣры пили вино. Опьяненные виномъ, они пѣли пѣсни и смѣло говорили страшныя, отвратительныя слова, которыхъ не рѣшится сказать человѣкъ, боящійся Бога; безгранично свободные, бодрые, счастливые, они не боялись ни Бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и дѣлали

все, что хотѣли, и шли туда, куда гнала ихъ похоть. А вино, чистое, какъ янтарь, подернутое золотыми искрами, вѣроятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пившій блаженно улыбался и хотѣлъ еще пить. На улыбку человѣка оно отвѣчало тоже улыбкой и, когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таитъ оно въ своей сладости.

Старикъ, все больше распаляясь и плача отъ гнѣва, продолжалъ описывать то, что онъ видѣлъ. На столѣ, среди пировавшихъ, говорилъ онъ, стояла полунагая блудница. Трудно представить себѣ и найти въ природѣ что-нибудь болѣе прекрасное и плѣнительное. Эта гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, съ черными глазами и съ жирными губами, безстыдная и наглая, оскалила свои бѣлые, какъ снѣгъ, зубы и улыбалась, какъ будто хотѣла сказать: «Поглядите, какая я наглая, какая красивая!» Шелкъ и парча красивыми складками спускались съ ея плечъ, но красота не хотѣла прятаться подъ одеждой, а какъ молодая зелень изъ весенней почвы жадно пробивалась сквозь складки. Наглая женщина пила вино, пѣла пѣсни и отдавалась всякому, кто только хотѣлъ.

Далѣе старикъ, гнѣвно потрясая руками, описалъ конскія ристалища, бой быковъ, театры, мастерскія художниковъ, гдѣ пишутъ и лѣпятъ изъ глины нагихъ женщинъ. Говорилъ онъ вдохновенно, красиво и звучно, точно игралъ на невидимыхъ струнахъ, а монахи, оцѣпенѣвшіе, жадно внимали

его рѣчамъ и задыхались отъ восторга . . . Описавъ всѣ прелести дьявола, красоту зла и плѣнительную грацію отвратительнаго женскаго тѣла, старикъ проклялъ дьявола, повернулъ назадъ и скрылся за своею дверью . . .

Когда онъ на другое утро вышелъ изъ кельи, въ монастырѣ не оставалось ни одного монаха. Всѣ они бѣжали въ городъ.

КАШТАНКА

Разсказъ

I

Дурное поведеніе

Молодая, рыжая собака — помѣсь такса съ дворняжкой — очень похожая мордой на лисицу, бѣгала взадъ и впередъ по тротуару и безпокойно оглядывалась по сторонамъ. Изрѣдка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себѣ отчетъ: какъ это могло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, какъ она провела день и какъ, въ концѣ концовъ, попала на этотъ незнакомый тротуаръ.

День начался съ того, что ея хозяинъ, столяръ Лука Александрычъ, надѣлъ шапку, взялъ подъ мышку какую-то деревянную штуку, завернутую въ красный платокъ, и крикнулъ:

— Каштанка, пойдемъ!

Услыхавъ свое имя, помѣсь такса съ дворняжкой вышла изъ-подъ верстака, гдѣ она спала на стружкахъ, сладко потянулась и побѣжала за хозяиномъ. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно

далеко, такъ что, прежде чѣмъ дойти до каждаго изъ нихъ, столяръ долженъ былъ по нѣсколько разъ заходить въ трактиръ и подкрѣпляться. Каштанка помнила, что по дорогѣ она вела себя крайне неприлично. Отъ радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась съ лаемъ на вагоны конно-желѣзки, забѣгала во дворы и гонялась за собаками. Столяръ то и дѣло терялъ ее изъ виду, останавливался и сердито кричалъ на нее. Разъ даже онъ съ выраженіемъ алчности на лицѣ забралъ въ кулакъ ея лисье ухо, потрепалъ и проговорилъ съ разстановкой:

— Чтобъ . . . ты . . . из . . . дох . . . ла, холера!

Побывавъ у заказчиковъ, Лука Александрычъ зашелъ на минутку къ сестрѣ, у которой пилъ и закусывалъ; отъ сестры пошелъ онъ къ знакомому переплетчику, отъ переплетчика въ трактиръ, изъ трактира къ куму и т. д. Однимъ словомъ, когда Каштанка попала на незнакомый тротуаръ, то уже вечерѣло и столяръ былъ пьянъ, какъ сапожникъ. Онъ размахивалъ руками и, глубоко вздыхая, бормоталъ:

— Во грѣсѣхъ роди мя мати во утробѣ моей! Охъ, грѣхи, грѣхи! Теперь вотъ мы по улицѣ идемъ и на фонарики глядимъ, а какъ помремъ — въ геенѣ огненной горѣть будемъ . . .

Или же онъ впадалъ въ добродушный тонъ, подзывалъ къ себѣ Каштанку и говорилъ ей:

— Ты, Каштанка, насѣкомое существо и больше ничего. Супротивъ человѣка ты все равно, что плотникъ супротивъ столяра . . .

Когда онъ разговаривалъ съ нею такимъ образомъ, вдругъ загремѣла музыка. Каштанка оглянулась и увидѣла, что по улицѣ прямо на нее шелъ полкъ солдатъ. Не вынося музыки, которая разстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. Къ великому ея удивленію, столяръ вмѣсто того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунтъ и всей пятерней сдѣлалъ подъ козырекъ. Видя, что хозяинъ не протестуетъ, Каштанка еще громче завыла и, не помня себя, бросилась черезъ дорогу на другой тротуаръ.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебѣжала дорогу къ тому мѣсту, гдѣ оставила хозяина, но, увы! столяра уже тамъ не было. Она бросилась впередъ, потомъ назадъ, еще разъ перебѣжала дорогу, но столяръ точно сквозь землю провалился . . . Каштанка стала обнюхивать тротуаръ, надѣясь найти хозяина по запаху его слѣдовъ, но раньше какой-то негодяй прошелъ въ новыхъ резиновыхъ калошахъ, и теперь всѣ тонкіе запахи мѣшались съ острою каучуковою вонью, такъ что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бѣгала взадъ и впередъ и не находила хозяина, а между тѣмъ становилось темно. По обѣ стороны улицы зажглись фонари и въ окнахъ домовъ показались огни. Шелъ крупный, пушистый снѣгъ и красилъ въ бѣлое мостовую, лошадиныя спины, шапки извозчиковъ, и чѣмъ больше темнѣлъ воздухъ, тѣмъ бѣлѣе становились

предметы. Мимо Каштанки, заслоняя ей поле зрѣнія и толкая ее ногами, безостановочно взадъ и впередъ проходили незнакомые заказчики. (Все человѣчество Каштанка дѣлила на двѣ очень неравныя части: на хозяевъ и на заказчиковъ; между тѣми и другими была существенная разница: первые имѣли право бить ее, а вторыхъ она сама имѣла право хватать за икры). Заказчики куда-то спѣшили и не обращали на нее никакого вниманія.

Когда стало совсѣмъ темно, Каштанкою овладѣли отчаяніе и ужасъ. Она прижалась къ какому-то подъѣзду и стала горько плакать. Цѣлодневное путешествіе съ Лукой Александрычемъ утомило ее, уши и лапы ея озябли, и къ тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да въ одномъ изъ трактировъ около прилавка нашла колбасную кожицу — вотъ и все. Если бы она была человѣкомъ, то навѣрное подумала бы:

«Нѣтъ, такъ жить невозможно! Нужно застрѣлиться!»

II

Таинственный незнакомецъ

Но она ни о чемъ не думала и только плакала. Когда мягкій, пушистый снѣгъ совсѣмъ облѣпилъ ея спину и голову, и она отъ изнеможенія погрузилась въ тяжелую дремоту, вдругъ подъѣздная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Изъ отворенной двери вышелъ

какой-то человѣкъ, принадлежащій къ разряду заказчиковъ. Такъ какъ Каштанка взвизгнула и попала ему подъ ноги, то онъ не могъ не обратить на нее вниманія. Онъ нагнулся къ ней и спросилъ:

— Псина, ты откуда? Я тебя ушибъ? О, бѣдная, бѣдная . . . Ну, не сердись, не сердись . . . Виноватъ.

Каштанка поглядѣла на незнакомца сквозь снѣжинки, нависшія на рѣсницы, и увидѣла передъ собой коротенькаго и толстенькаго человѣчка съ бритымъ, пухлымъ лицомъ, въ цилиндрѣ и въ шубѣ нараспашку.

— Что же ты скулишь? — продолжалъ онъ, сбивая пальцемъ съ ея спины снѣгъ. — Гдѣ твой хозяинъ? Должно-быть, ты потерялась? Ахъ, бѣдный песикъ! Что же мы теперь будемъ дѣлать?

Уловивъ въ голосѣ незнакомца теплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнѣе.

— А ты хорошая, смѣшная! — сказалъ незнакомецъ. — Совсѣмъ лисица! Ну, что-жъ, дѣлать нечего, пойдемъ со мной! Можетъ-быть, ты и сгодишься на что-нибудь . . . Ну, фюйть!

Онъ чмокнулъ губами и сдѣлалъ Каштанкѣ знакъ рукой, который могъ означать только одно: «пойдемъ!» Каштанка пошла.

Не больше, какъ черезъ полчаса, она уже сидѣла на полу въ большой, свѣтлой комнатѣ и, склонивъ голову на бокъ, съ умиленіемъ и съ любопытствомъ глядѣла на незнакомца, который сидѣлъ за столомъ и обѣдалъ. Онъ ѣлъ и бросалъ

ей кусочки... Сначала онъ далъ ей хлѣба и зеленую корочку сыра, потомъ кусочекъ мяса, полъ-пирожка, куриныхъ костей, а она съ голодухи все это съѣла такъ быстро, что не успѣла разобрать вкуса. И чѣмъ больше она ѣла, тѣмъ сильнѣе чувствовался голодъ.

— Однако, плохо же кормятъ тебя твои хозяева! — говорилъ незнакомецъ, глядя, съ какою свирѣпою жадностью она глотала неразжеванные куски. — И какая ты тощая! Кожа да кости...

Каштанка съѣла много, но не наѣлась, а только опьянѣла отъ ѣды. Послѣ обѣда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всемъ тѣлѣ пріятную истому, завиляла хвостомъ. Пока ея новый хозяинъ, развалившись въ креслѣ, курилъ сигару, она виляла хвостомъ и рѣшала вопросъ: гдѣ лучше — у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бѣдная и некрасивая; кромѣ креселъ, дивана, лампы и ковровъ, у него нѣтъ ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира биткомъ набита вещами: у него есть столъ, верстакъ, куча стружекъ, рубанки, стамезки, пилы, клѣтка съ чижикомъ, лохань... У незнакомца не пахнетъ ничѣмъ, у столяра же въ квартирѣ всегда стоитъ туманъ и великолѣпно пахнетъ клеемъ, лакомъ и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество — онъ даетъ много ѣсть и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидѣла передъ столомъ и умильно глядѣла на него, онъ ни разу не ударилъ ее, не затопалъ ногами и ни разу не крикнулъ: «По-ошла вонъ, треклятая!»

Выкуривъ сигару, новый хозяинъ вышелъ и черезъ минуту вернулся, держа въ рукахъ маленькій матрасикъ.

— Эй, ты, песъ, поди сюда! — сказалъ онъ, кладя матрасикъ въ углу около дивана. — Ложись здѣсь. Спи!

Затѣмъ онъ потушилъ лампу и вышелъ. Каштанка разлеглась на матрасикѣ и закрыла глаза; съ улицы послышался лай, и она хотѣла отвѣтить на него, но вдругъ неожиданно ею овладѣла грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Ѳедюшку, уютное мѣстечко подъ верстакомъ . . . Вспомнила она, что въ длинные зимніе вечера, когда столяръ строгалъ или читалъ вслухъ газету, Ѳедюшка обыкновенно игралъ съ нею . . . Онъ вытаскивалъ ее за заднія лапы изъ-подъ верстака и выдѣлывалъ съ нею такіе фокусы, что у нея зеленѣло въ глазахъ и болѣло во всѣхъ суставахъ. Онъ заставлялъ ее ходить на заднихъ лапахъ, изображалъ изъ нея колоколъ, т. е. сильно дергалъ ее за хвостъ, отчего она визжала и лаяла, давалъ ей нюхать табаку . . . Особенно мучителенъ былъ слѣдующій фокусъ: Ѳедюшка привязывалъ на ниточку кусочекъ мяса и давалъ его Каштанкѣ, потомъ же, когда она проглатывала, онъ съ громкимъ смѣхомъ вытаскивалъ его обратно изъ ея желудка. И чѣмъ ярче были воспоминанія, тѣмъ громче и тоскливѣе скулила Каштанка.

Но скоро утомленіе и теплота взяли верхъ надъ грустью . . . Она стала засыпать. Въ ея воображеніи забѣгали собаки; пробѣжалъ, между

прочимъ, и мохнатый, старый пудель, котораго она видѣла сегодня на улицѣ, съ бѣльмомъ на глазу и съ клочьями шерсти около носа. Ѳедюшка, съ долотомъ въ рукѣ, погнался за пуделемъ, потомъ вдругъ самъ покрылся мохнатой шерстью, весело залаялъ и очутился около Каштанки. Каштанка и онъ добродушно понюхали другъ другу носы и побѣжали на улицу . . .

III

Новое, очень пріятное знакомство

Когда Каштанка проснулась, было уже свѣтло, и съ улицы доносился шумъ, какой бываетъ только днемъ. Въ комнатѣ не было ни души. Каштанка потянулась, зѣвнула и, сердитая, угрюмая, прошлась по комнатѣ. Она обнюхала углы и мебель, заглянула въ переднюю и не нашла ничего интереснаго. Кромѣ двери, которая вела въ переднюю, была еще одна дверь. Подумавъ, Каштанка поцарапала ее обѣими лапами, отворила и вошла въ слѣдующую комнату. Тутъ на кровати, укрывшись байковымъ одѣяломъ, спалъ заказчикъ, въ которомъ она узнала вчерашняго незнакомца.

— Рррр . . . — заворчала она, но, вспомнивъ про вчерашній обѣдъ, завиляла хвостомъ и стала нюхать.

Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнутъ лошадью. Изъ спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на

нее грудью, отворила и тотчасъ же почувствовала странный, очень подозрительный запахъ. Предчувствуя непріятную встрѣчу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла въ маленькую комнатку съ грязными обоями и въ страхѣ попятилась назадъ. Она увидѣла нѣчто неожиданное и страшное. Пригнувъ къ землѣ шею и голову, растопыривъ крылья и шипя, прямо на нее шелъ сѣрый гусь. Нѣсколько въ сторонѣ отъ него, на матрасикѣ, лежалъ бѣлый котъ; увидѣвъ Каштанку, онъ вскочилъ, выгнулъ спину въ дугу, задралъ хвостъ, взъерошилъ шерсть и тоже зашипѣлъ. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась къ коту . . . Котъ еще сильнѣе выгнулъ спину, зашипѣлъ и ударилъ Каштанку лапой по головѣ. Каштанка отскочила, присѣла на всѣ четыре лапы и, протягивая къ коту морду, залилась громкимъ, визгливымъ лаемъ; въ это время гусь подошелъ сзади и больно долбанулъ ее клювомъ въ спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся . . .

— Это что такое? — послышался громкій, сердитый голосъ, и въ комнату вошелъ незнакомецъ въ халатѣ и съ сигарой въ зубахъ. — Что это значитъ? На мѣсто!

Онъ подошелъ къ коту, щелкнулъ его по выгнутой спинѣ и сказалъ:

— Ѳедоръ Тимоѳеичъ, это что значитъ? Драку подняли? Ахъ, ты, старая каналья! Ложись!

И, обратившись къ гусю, онъ крикнулъ:

— Иванъ Иванычъ, на мѣсто!

Котъ покорно легъ на свой матрасикъ и закрылъ глаза. Судя по выраженію его морды и усовъ, онъ самъ былъ недоволенъ, что погорячился и вступилъ въ драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянулъ шею и заговорилъ о чемъ-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно.

— Ладно, ладно! — сказалъ хозяинъ, зѣвая. — Надо жить мирно и дружно. — Онъ погладилъ Каштанку и продолжалъ: — А ты, рыжикъ, не бойся . . . Это хорошая публика, не обидитъ. Постой, какъ же мы тебя звать будемъ? Безъ имени нельзя, братъ.

Незнакомецъ подумалъ и сказалъ:

— Вотъ что . . . Ты будешь — Тетка . . . Понимаешь? Тетка?

И, повторивъ нѣсколько разъ слово «Тетка», онъ вышелъ. Каштанка сѣла и стала наблюдать. Котъ неподвижно сидѣлъ на матрасикѣ и дѣлалъ видъ, что спитъ. Гусь, втягивая шею и топчась на одномъ мѣстѣ, продолжалъ говорить о чемъ-то быстро и горячо. Повидимому, это былъ очень умный гусь; послѣ каждой длинной тирады, онъ всякій разъ удивленно пятился назадъ и дѣлалъ видъ, что восхищается своею рѣчью . . . Послушавъ его и отвѣтивъ ему: «рррр . . .», Каштанка принялась обнюхивать углы. Въ одномъ изъ угловъ стояло маленькое корытце, въ которомъ она увидѣла моченый горохъ и размокшія ржаныя корки. Она попробовала горохъ — не вкусно, попробовала корки — и стала ѣсть. Гусь нисколько

не обидѣлся, что незнакомая собака поѣдаетъ его кормъ, а, напротивъ, заговорилъ еще горячѣе и, чтобы показать свое довѣріе, самъ подошелъ къ корытцу и съѣлъ нѣсколько горошинокъ.

IV

Чудеса въ рѣшетѣ

Немного погодя, опять вошелъ незнакомецъ и принесъ съ собою какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П. На перекладинѣ этого деревяннаго, грубо сколоченнаго П висѣлъ колоколъ и былъ привязанъ пистолетъ; отъ языка колокола и отъ курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомецъ поставилъ П посреди комнаты, долго что-то развязывалъ и завязывалъ, потомъ посмотрѣлъ на гуся и сказалъ:

— Иванъ Иванычъ, пожалуйте!

Гусь подошелъ къ нему и остановился въ ожидательной позѣ.

— Ну-съ, — сказалъ незнакомецъ: — начнемъ съ самаго начала. Прежде всего поклонись и сдѣлай реверансъ! Живо!

Иванъ Иванычъ вытянулъ шею, закивалъ во всѣ стороны и шаркнулъ лапкой.

— Такъ, молодецъ . . . Теперь умри!

Гусь легъ на спину и задралъ вверхъ лапы. Продѣлавъ еще нѣсколько подобныхъ неважныхъ фокусовъ, незнакомецъ вдругъ схватилъ себя за голову, изобразилъ на своемъ лицѣ ужасъ и закричалъ:

— Караулъ! Пожаръ! Горимъ!

Иванъ Иванычъ подбѣжалъ къ П, взялъ въ клювъ веревку и зазвонилъ въ колоколъ.

Незнакомецъ остался очень доволенъ. Онъ погладилъ гуся по шеѣ и сказалъ:

— Молодецъ, Иванъ Иванычъ! Теперь представь, что ты ювелиръ и торгуешь золотомъ и брильянтами. Представь теперь, что ты приходишь къ себѣ въ магазинъ и застаешь въ немъ воровъ. Какъ бы ты поступилъ въ данномъ случаѣ?

Гусь взялъ въ клювъ другую веревочку и потянулъ, отчего тотчасъ же раздался оглушительный выстрѣлъ. Каштанкѣ очень понравился звонъ, а отъ выстрѣла она пришла въ такой восторгъ, что забѣгала вокругъ П и залаяла.

— Тетка, на мѣсто! — крикнулъ ей незнакомецъ. — Молчать!

Работа Ивана Иваныча не кончилась стрѣльбой. Цѣлый часъ потомъ незнакомецъ гонялъ его вокругъ себя на кордѣ и хлопалъ бичомъ, причемъ гусь долженъ былъ прыгать черезъ барьеръ и сквозь обручъ, становиться на дыбы, т. е. садиться на хвостъ и махать лапками. Каштанка не отрывала глазъ отъ Ивана Иваныча, завывала отъ восторга и нѣсколько разъ принималась бѣгать за нимъ со звонкимъ лаемъ. Утомивъ гуся и себя, незнакомецъ вытеръ со лба потъ и крикнулъ:

— Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!

Черезъ минуту послышалось хрюканье . . . Каштанка заворчала, приняла очень храбрый видъ и на всякій случай подошла поближе къ незна-

комцу. Отворилась дверь, въ комнату поглядѣла какая-то старуха и, сказавъ что-то, впустила черную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого вниманія на ворчанье Каштанки, свинья подняла вверхъ свой пятачокъ и весело захрюкала. Повидимому, ей было очень пріятно видѣть своего хозяина, кота и Ивана Иваныча. Когда она подошла къ коту и слегка толкнула его подъ животъ своимъ пятачкомъ и потомъ о чемъ-то заговорила съ гусемъ, въ ея движеніяхъ, въ голосѣ и въ дрожаніи хвостика чувствовалось много добродушія. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на такихъ субъектовъ — безполезно.

Хозяинъ убралъ П и крикнулъ:

— Ѳедоръ Тимоѳеичъ, пожалуйте!

Котъ поднялся, лѣниво потянулся и нехотя, точно дѣлая одолженіе, подошелъ къ свиньѣ.

— Ну-съ, начнемъ съ египетской пирамиды, — началъ хозяинъ.

Онъ долго объяснялъ что-то, потомъ скомандовалъ: «разъ . . . два . . . три!» Иванъ Иванычъ при словѣ «три» взмахнулъ крыльями и вскочилъ на спину свиньи . . . Когда онъ, балансируя крыльями и шеей, укрѣпился на щетинистой спинѣ, Ѳедоръ Тимоѳеичъ вяло и лѣниво, съ явнымъ пренебреженіемъ и съ такимъ видомъ, какъ будто онъ презираетъ и ставитъ ни въ грошъ свое искусство, полѣзъ на спину свиньи, потомъ нехотя взобрался на гуся и сталъ на заднія лапы. Получилось то, что незнакомецъ называлъ египетской пирамидой.

Каштанка взвизгнула отъ восторга, но въ это время старикъ-котъ зѣвнулъ и, потерявъ равновѣсіе, свалился съ гуся. Иванъ Иванычъ пошатнулся и тоже свалился. Незнакомецъ закричалъ, замахалъ руками и сталъ опять что-то объяснять. Провозившись цѣлый часъ съ пирамидой, неутомимый хозяинъ принялся учить Ивана Иваныча ѣздить верхомъ на котѣ, потомъ сталъ учить кота курить и т. п.

Ученье кончилось тѣмъ, что незнакомецъ вытеръ со лба потъ и вышелъ, Ѳедоръ Тимоѳеичъ брезгливо фыркнулъ, легъ на матрасикъ и закрылъ глаза, Иванъ Иванычъ направился къ корытцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массѣ новыхъ впечатлѣній, день прошелъ для Каштанки незамѣтно, а вечеромъ она со своимъ матрасикомъ была уже водворена въ комнаткѣ съ грязными обоями и ночевала въ обществѣ Ѳедора Тимоѳеича и гуся.

V

Талантъ! Талантъ!

Прошелъ мѣсяцъ.

Каштанка уже привыкла къ тому, что ее каждый вечеръ кормили вкуснымъ обѣдомъ и звали Теткой. Привыкла она и къ незнакомцу, и къ своимъ новымъ сожителямъ. Жизнь потекла, какъ по маслу.

Всѣ дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всѣхъ просыпался Иванъ Иванычъ и тотчасъ же подходилъ къ Теткѣ или къ коту,

выгибалъ шею и начиналъ говорить о чемъ-то горячо и убѣдительно, но попрежнему непонятно. Иной разъ онъ поднималъ вверхъ голову и произносилъ длинные монологи. Въ первые дни знакомства Каштанка думала, что онъ говоритъ много потому, что очень уменъ, но прошло немного времени, и она потеряла къ нему всякое уваженіе; когда онъ подходилъ къ ней со своими длинными рѣчами, она ужъ не виляла хвостомъ, а третировала его, какъ надоѣдливаго болтуна, который не даетъ никому спать, и безъ всякой церемоніи отвѣчала ему: «рррр» . . .

Ѳедоръ же Тимоѳеичъ былъ иного рода господинъ. Этотъ, проснувшись, не издавалъ никакого звука, не шевелился и даже не открывалъ глазъ. Онъ охотно бы не просыпался, потому что, какъ видно было, онъ не долюбливалъ жизни. Ничто его не интересовало, ко всему онъ относился вяло и небрежно, все презиралъ и даже, поѣдая свой вкусный обѣдъ, брезгливо фыркалъ.

Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатамъ и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартирѣ; гусь же не имѣлъ права переступать порогъ комнатки съ грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила гдѣ-то на дворѣ въ сарайчикѣ и появлялась только во время ученья. Хозяинъ просыпался поздно и, напившись чаю, тотчасъ же принимался за свои фокусы. Каждый день въ комнатку вносились П, бичъ, обручи и каждый день продѣлывалось почти одно и то же. Ученье продолжалось часа

три-четыре, такъ что иной разъ Ѳедоръ Тимоѳеичъ отъ утомленія пошатывался, какъ пьяный, Иванъ Иванычъ раскрывалъ клювъ и тяжело дышалъ, а хозяинъ становился краснымъ и никакъ не могъ стереть со лба потъ.

Ученье и обѣдъ дѣлали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяинъ уѣзжалъ куда-то и увозилъ съ собою гуся и кота. Оставшись одна, Тетка ложилась на матрасикъ и начинала грустить . . . Грусть подкрадывалась къ ней какъ-то незамѣтно и овладѣвала ею постепенно, какъ потемки комнатой. Начиналось съ того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, ѣсть, бѣгать по комнатамъ и даже глядѣть, затѣмъ въ воображеніи ея появлялись какія-то двѣ неясныя фигуры, не то собаки, не то люди, съ физіономіями симпатичными, милыми, но непонятными; при появленіи ихъ, Тетка виляла хвостомъ и ей казалось, что она ихъ гдѣ-то когда-то видѣла и любила . . . А засыпая, она всякій разъ чувствовала, что отъ этихъ фигуръ пахнетъ клеемъ, стружками и лакомъ.

Когда она совсѣмъ уже свыклась съ новой жизнью и изъ тощей, костлявой дворняжки обратилась въ сытаго, выхоленнаго пса, однажды передъ ученьемъ хозяинъ погладилъ ее и сказалъ:

— Пора намъ, Тетка, дѣломъ заняться. Довольно тебѣ бить баклуши. Я хочу изъ тебя артистку сдѣлать . . . Ты хочешь быть артисткой?

И онъ сталъ учить ее разнымъ наукамъ. Въ первый урокъ она училась стоять и ходить на

заднихъ лапахъ, что ей ужасно нравилось. Во второй урокъ она должна была прыгать на заднихъ лапахъ и хватать сахаръ, который высоко надъ ея головой держалъ учитель. Затѣмъ въ слѣдующіе уроки она плясала, бѣгала на кордѣ, выла подъ музыку, звонила и стрѣляла, а черезъ мѣсяцъ уже могла съ успѣхомъ замѣнять Ѳедора Тимоѳеича въ «египетской пирамидѣ». Училась она очень охотно и была довольна своими успѣхами; бѣганье съ высунутымъ языкомъ на кордѣ, прыганье въ обручъ и ѣзда верхомъ на старомъ Ѳедорѣ Тимоѳеичѣ доставляли ей величайшее наслажденіе. Всякій удавшійся фокусъ она сопровождала звонкимъ, восторженнымъ лаемъ, а учитель удивлялся, приходилъ тоже въ восторгъ и потиралъ руки.

— Талантъ! Талантъ! — говорилъ онъ. — Несомнѣнный талантъ! Ты положительно будешь имѣть успѣхъ!

И Тетка такъ привыкла къ слову «талантъ», что всякій разъ, когда хозяинъ произносилъ его, вскакивала и оглядывалась, какъ будто оно было ея кличкой.

VI

Безпокойная ночь

Теткѣ приснился собачій сонъ, будто за нею гонится дворникъ съ метлой, и она проснулась отъ страха.

Въ комнаткѣ было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемокъ, но теперь почему-то ей стало жутко и

захотѣлось лаять. Въ сосѣдней комнатѣ громко вздохнулъ хозяинъ, потомъ, немного погодя, въ своемъ сарайчикѣ хрюкнула свинья, и опять все смолкло. Когда думаешь объ ѣдѣ, то на душѣ становится легче, и Тетка стала думать о томъ, какъ она сегодня украла у Ѳедора Тимоѳеича куриную лапку и спрятала ее въ гостиной между шкапомъ и стѣной, гдѣ очень много паутины и пыли. Не мѣшало бы теперь пойти и посмотрѣть: цѣла эта лапка, или нѣтъ? Очень можетъ быть, что хозяинъ нашелъ ее и скушалъ. Но раньше утра нельзя выходить изъ комнатки — такое правило. Тетка закрыла глаза, чтобы поскорѣе уснуть, такъ какъ она знала по опыту, что чѣмъ скорѣе уснешь, тѣмъ скорѣе наступитъ утро. Но вдругъ недалеко отъ нея раздался странный крикъ, который заставилъ ее вздрогнуть и вскочить на всѣ четыре лапы. Это крикнулъ Иванъ Иванычъ, и крикъ его былъ не болтливый и убѣдительный, какъ обыкновенно, а какой-то дикій, пронзительный и неестественный, похожій на скрипъ отворяемыхъ воротъ. Ничего не разглядѣвъ въ потемкахъ и не понявъ, Тетка почувствовала еще большій страхъ и проворчала:

— Рррр . . .

Прошло много времени, сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость; крикъ не повторялся. Тетка мало-по-малу успокоилась и задремала. Ей приснились двѣ большія черныя собаки съ клочьями прошлогодней шерсти на бедрахъ и на бокахъ; онѣ изъ большой лохани съ

жадностью ѣли помои, отъ которыхъ шелъ бѣлый паръ и очень вкусный запахъ; изрѣдка онѣ оглядывались на Тетку, скалили зубы и ворчали: — «А тебѣ мы не дадимъ!» Но изъ дому выбѣжалъ мужикъ въ шубѣ и прогналъ ихъ кнутомъ; тогда Тетка подошла къ лохани и стала кушать, но какъ только мужикъ ушелъ за ворота, обѣ черныя собаки съ ревомъ бросились на нее, и вдругъ опять раздался пронзительный крикъ.

— К-ге! К-ге-ге! — крикнулъ Иванъ Иванычъ.

Тетка проснулась, вскочила и, не сходя съ матрасика, залилась воющимъ лаемъ. Ей уже казалось, что кричитъ не Иванъ Иванычъ, а кто-то другой, посторонній. И почему-то въ сарайчикѣ опять хрюкнула свинья.

Но вотъ послышалось шарканье туфель, и въ комнатку вошелъ хозяинъ въ халатѣ и со свѣчой. Мелькающій свѣтъ запрыгалъ по грязнымъ обоямъ и по потолку и прогналъ потемки. Тетка увидѣла, что въ комнаткѣ нѣтъ никого посторонняго. Иванъ Иванычъ сидѣлъ на полу и не спалъ. Крылья у него были растопырены и клювъ раскрытъ, и вообще онъ имѣлъ такой видъ, какъ будто очень утомился и хотѣлъ пить. Старый Ѳедоръ Тимоѳеичъ тоже не спалъ. Должно-быть, и онъ былъ разбуженъ крикомъ.

— Иванъ Иванычъ, что съ тобой? — спросилъ хозяинъ у гуся. — Что ты кричишь? Ты боленъ?

Гусь молчалъ. Хозяинъ потрогалъ его за шею, погладилъ по спинѣ и сказалъ:

— Ты чудакъ. И самъ не спишь, и другимъ не даешь.

Когда хозяинъ вышелъ и унесъ съ собою свѣтъ, опять наступили потемки. Теткѣ было страшно. Гусь не кричалъ, но ей опять стало чудиться, что въ потемкахъ стоитъ кто-то чужой. Страшнѣе всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, такъ какъ онъ былъ невидимъ и не имѣлъ формы. И почему-то она думала, что въ эту ночь должно непремѣнно произойти что-то очень худое. Ѳедоръ Тимоѳеичъ тоже былъ не покоенъ. Тетка слышала, какъ онъ возился на своемъ матрасикѣ, зѣвалъ и встряхивалъ головой.

Гдѣ-то на улицѣ застучали въ ворота и въ сарайчикѣ хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула переднія лапы и положила на нихъ голову. Въ стукѣ воротъ, въ хрюканьѣ не спавшей почему-то свиньи, въ потемкахъ и въ тишинѣ почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, какъ въ крикѣ Ивана Иваныча. Все было въ тревогѣ и въ безпокойствѣ, но отчего? Кто этотъ чужой, котораго не было видно? Вотъ около Тетки на мгновеніе вспыхнули двѣ тусклыя, зеленыя искорки. Это въ первый разъ за все время знакомства подошелъ къ ней Ѳедоръ Тимоѳеичъ. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачѣмъ онъ пришелъ, завыла тихо и на разные голоса.

К-ге! — крикнулъ Иванъ Иванычъ. — К-ге-ге!

Опять отворилась дверь, и вошелъ хозяинъ со свѣчой. Гусь сидѣлъ въ прежней позѣ, съ рази-

нутымъ клювомъ и растопырив крылья. Глаза у него были закрыты.

— Иванъ Иванычъ! — позвалъ хозяинъ.

Гусь не шевельнулся. Хозяинъ сѣлъ передъ нимъ на полу, минуту глядѣлъ на него молча и сказалъ:

— Иванъ Иванычъ! Что же это такое? Умираешь ты, что ли? Ахъ, я теперь вспомнилъ, вспомнилъ! — вскрикнулъ онъ и схватилъ себя за голову. — Я знаю, отчего это! Это оттого, что сегодня на тебя наступила лошадь! Боже мой, Боже мой!

Тетка не понимала, что говоритъ хозяинъ, но по его лицу видѣла, что и онъ ждетъ чего-то ужаснаго. Она протянула морду къ темному окну, въ которое, какъ казалось ей, глядѣлъ кто-то чужой, и завыла.

— Онъ умираетъ, Тетка! — сказалъ хозяинъ и всплеснулъ руками. — Да, да, умираетъ! Къ вамъ въ комнату пришла смерть. Что намъ дѣлать?

Блѣдный, встревоженный хозяинъ, вздыхая и покачивая головой, вернулся къ себѣ въ спальню. Теткѣ жутко было оставаться въ потемкахъ, и она пошла за нимъ. Онъ сѣлъ на кровать и нѣсколько разъ повторилъ:

— Боже мой, что же дѣлать?

Тетка ходила около его ногъ и, не понимая, отчего это у нея такая тоска и отчего всѣ такъ безпокоятся, и стараясь понять, слѣдила за каждымъ его движеніемъ. Ѳедоръ Тимоѳеичъ, рѣдко покидавшій свой матрасикъ, тоже вошелъ въ

спальню хозяина и сталъ тереться около его ногъ. Онъ встряхивалъ головой, какъ будто хотѣлъ вытряхнуть изъ нея тяжелыя мысли, и подозрительно заглядывалъ подъ кровать.

Хозяинъ взялъ блюдечко, налилъ въ него изъ рукомойника воды и опять пошелъ къ гусю.

— Пей, Иванъ Иванычъ! — сказалъ онъ нѣжно, ставя передъ нимъ блюдечко. — Пей, голубчикъ.

Но Иванъ Иванычъ не шевелился и не открывалъ глазъ. Хозяинъ пригнулъ его голову къ блюдечку и окунулъ клювъ въ воду, но гусь не пилъ, еще шире растопырилъ крылья и голова его такъ и осталась лежать въ блюдечкѣ.

— Нѣтъ, ничего уже нельзя сдѣлать! — вздохнулъ хозяинъ. — Все кончено. Пропалъ Иванъ Иванычъ!

И по его щекамъ поползли внизъ блестящія капельки, какія бываютъ на окнахъ во время дождя. Не понимая, въ чемъ дѣло, Тетка и Ѳедоръ Тимоѳеичъ жались къ нему и съ ужасомъ смотрѣли на гуся.

— Бѣдный Иванъ Иванычъ! — говорилъ хозяинъ, печально вздыхая. — А я-то мечталъ, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять съ тобой по зеленой травкѣ. Милое животное, хорошій мой товарищъ, тебя уже нѣтъ! Какъ же я теперь буду обходиться безъ тебя?

Теткѣ казалось, что и съ нею случится то же самое, то-есть, что и она тоже вотъ такъ, неизвѣстно отчего, закроетъ глаза, протянетъ лапы, оскалитъ ротъ, и всѣ на нее будутъ смотрѣть съ ужасомъ.

Повидимому, такія же мысли бродили и въ головѣ Ѳедора Тимоѳеича. Никогда раньше старый котъ не былъ такъ угрюмъ и мраченъ, какъ теперь.

Начинался разсвѣтъ, и въ комнаткѣ уже не было того невидимаго чужого, который пугалъ такъ Тетку. Когда совсѣмъ разсвѣло, пришелъ дворникъ, взялъ гуся за лапы и унесъ его куда-то. А немного погодя, явилась старуха и вынесла корытце.

Тетка пошла въ гостиную и посмотрѣла за шкапъ: хозяинъ не скушалъ куриной лапки, она лежала на своемъ мѣстѣ, въ пыли и паутинѣ. Но Теткѣ было скучно, грустно и хотѣлось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла подъ диванъ, сѣла тамъ и начала скулить тихо, тонкимъ голоскомъ:

— Ску-ску-ску . . .

VII

Неудачный дебютъ

Въ одинъ прекрасный вечеръ хозяинъ вошелъ въ комнатку съ грязными обоями и, потирая руки, сказалъ:

— Ну-съ . . .

Что-то онъ хотѣлъ еще сказать, но не сказалъ и вышелъ. Тетка, отлично изучившая во время уроковъ его лицо и интонацію, догадалась, что онъ былъ взволнованъ, озабоченъ и, кажется, сердитъ. Немного погодя, онъ вернулся и сказалъ:

— Сегодня я возьму съ собой Тетку и Ѳедора Тимоѳеича. Въ египетской пирамидѣ ты, Тетка,

замѣнишь сегодня покойнаго Ивана Иваныча. Чортъ знаетъ что! Ничего не готово, не выучено, репетицій было мало! Осрамимся, провалимся!

Затѣмъ онъ опять вышелъ и черезъ минуту вернулся въ шубѣ и въ цилиндрѣ. Подойдя къ коту, онъ взялъ его за переднія лапы, поднялъ и спряталъ его на груди подъ шубу, причемъ Ѳедоръ Тимоѳеичъ казался очень равнодушнымъ и даже не потрудился открыть глазъ. Для него, повидимому, было рѣшительно все равно: лежать ли, или быть поднятымъ за ноги, валяться ли на матрасикѣ, или покоиться на груди хозяина подъ шубой . . .

— Тетка пойдемъ, — сказалъ хозяинъ.

Ничего не понимая и виляя хвостомъ, Тетка пошла за нимъ. Черезъ минуту она уже сидѣла въ саняхъ около ногъ хозяина и слушала, какъ онъ, пожимаясь отъ холода и волненія, бормоталъ:

— Осрамимся! Провалимся!

Сани остановились около большого, страннаго дома, похожаго на опрокинутый супникъ. Длинный подъѣздъ этого дома съ тремя стеклянными дверями былъ освѣщенъ дюжиной яркихъ фонарей. Двери со звономъ отворялись и, какъ рты, глотали людей, которые сновали у подъѣзда. Людей было много, часто къ подъѣзду подбѣгали и лошади, но собакъ не было видно.

Хозяинъ взялъ на руки Тетку и сунулъ ее на грудь, подъ шубу, гдѣ находился Ѳедоръ Тимоѳеичъ. Тутъ было темно и душно, но тепло. На мгновеніе вспыхнули двѣ тусклыя, зеленыя искорки — это открылъ глаза котъ, обезпокоенный холод-

ными, жесткими лапами сосѣдки. Тетка лизнула его ухо и, желая усѣсться возможно удобнѣе, безпокойно задвигалась, смяла его подъ себя холодными лапами и нечаянно высунула изъ-подъ шубы голову, но тотчасъ же сердито заворчала и нырнула подъ шубу. Ей показалось, что она увидѣла громадную, плохо освѣщенную комнату, полную чудовищъ; изъ-за перегородокъ и рѣшетокъ, которыя тянулись по обѣ стороны комнаты, выглядывали страшныя рожи: лошадиныя, рогатыя, длинноухія и какая-то одна толстая, громадная рожа съ хвостомъ вмѣсто носа и съ двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта.

Котъ сипло замяукалъ подъ лапами Тетки, но въ это время шуба распахнулась, хозяинъ сказалъ «гопъ!» и Ѳедоръ Тимоѳеичъ съ Теткою прыгнули на полъ. Они уже были въ маленькой комнатѣ съ сѣрыми, досчатыми стѣнами; тутъ, кромѣ небольшого столика съ зеркаломъ, табурета и тряпья, развѣшаннаго по угламъ, не было никакой другой мебели, и вмѣсто лампы или свѣчи, горѣлъ яркій вѣерообразный огонекъ, придѣланный къ трубочкѣ, вбитой въ стѣну. Ѳедоръ Тимоѳеичъ облизалъ свою шубу, помятую Теткой, пошелъ подъ табуретъ и легъ. Хозяинъ, все еще волнуясь и потирая руки, сталъ раздѣваться... Онъ раздѣлся такъ, какъ обыкновенно раздѣвался у себя дома, готовясь лечь подъ байковое одѣяло, т. е. снялъ все, кромѣ бѣлья, потомъ сѣлъ на табуретъ и, глядя въ зеркало, началъ выдѣлывать надъ собой удивительныя

штуки. Прежде всего онъ надѣлъ на голову парикъ съ проборомъ и съ двумя вихрами, похожими на рога, потомъ густо намазалъ лицо чѣмъ-то бѣлымъ и сверхъ бѣлой краски нарисовалъ еще брови, усы и румяны. Затѣи его этимъ не кончились. Опачкавши лицо и шею, онъ сталъ облачаться въ какой-то необыкновенный, ни съ чѣмъ несообразный костюмъ, какого Тетка никогда не видала раньше ни въ домахъ, ни на улицѣ. Представьте вы себѣ широчайшія панталоны, сшитыя изъ ситца съ крупными цвѣтами, какой употребляется въ мѣщанскихъ домахъ для занавѣсокъ и обивки мебели, панталоны, которыя застегиваются у самыхъ подмышекъ; одна панталона сшита изъ коричневаго ситца, другая изъ свѣтло-желтаго. Утонувши въ нихъ, хозяинъ надѣлъ еще ситцевую курточку съ большимъ зубчатымъ воротникомъ и съ золотой звѣздой на спинѣ, разноцвѣтные чулки и зеленые башмаки . . .

У Тетки запестрило въ глазахъ и въ душѣ. Отъ бѣлолицей, мѣшковатой фигуры пахло хозяиномъ, голосъ у нея былъ тоже знакомый, хозяйскій, но бывали минуты, когда Тетку мучили сомнѣнія, и тогда она готова была бѣжать отъ пестрой фигуры и лаять. Новое мѣсто, вѣерообразный огонекъ, запахъ, метаморфоза, случившаяся съ хозяиномъ — все это вселяло въ нее неопредѣленный страхъ и предчувствіе, что она непремѣнно встрѣтится съ какимъ-нибудь ужасомъ въ родѣ толстой рожи съ хвостомъ вмѣсто носа. А тутъ еще гдѣ-то за стѣной далеко играла ненавистная музыка и

слышался временами непонятный ревъ. Одно только и успокаивало ее — это невозмутимость Ѳедора Тимоѳеича. Онъ преспокойно дремалъ подъ табуретомъ и не открывалъ глазъ, даже когда двигался табуретъ.

Какой-то человѣкъ во фракѣ и въ бѣлой жилеткѣ заглянулъ въ комнатку и сказалъ:

— Сейчасъ выходъ миссъ Арабеллы. Послѣ нея — вы.

Хозяинъ ничего не отвѣтилъ. Онъ вытащилъ изъ-подъ стола небольшой чемоданъ, сѣлъ и сталъ ждать. По губамъ и по рукамъ его было замѣтно, что онъ волновался, и Тетка слышала, какъ дрожало его дыханіе.

— М-r Жоржъ, пожалуйте! — крикнулъ кто-то за дверью.

Хозяинъ всталъ и три раза перекрестился, потомъ досталъ изъ-подъ табурета кота и сунулъ его въ чемоданъ.

— Иди, Тетка! — сказалъ онъ тихо.

Тетка, ничего не понимая, подошла къ его рукамъ; онъ поцѣловалъ ее въ голову и положилъ рядомъ съ Ѳедоромъ Тимоѳеичемъ. За симъ наступили потемки . . . Тетка топталась по коту, царапала стѣнки чемодана и отъ ужаса не могла произнести ни звука, а чемоданъ покачивался, какъ на волнахъ, и дрожалъ . . .

— А вотъ и я! — громко крикнулъ хозяинъ. — А вотъ и я!

Тетка почувствовала, что послѣ этого крика чемоданъ ударился о что-то твердое и пересталъ

качаться. Послышался громкій густой ревъ: по комъ-то хлопали и этотъ кто-то, вѣроятно рожа съ хвостомъ вмѣсто носа, ревѣлъ и хохоталъ такъ громко, что задрожали замочки у чемодана. Въ отвѣтъ на ревъ раздался пронзительный, визгливый смѣхъ хозяина, какимъ онъ никогда не смѣялся дома.

— Га! — крикнулъ онъ, стараясь перекричать ревъ. — Почтеннѣйшая публика! Я сейчасъ только съ вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мнѣ наслѣдство! Въ чемоданѣ что-то очень тяжелое — очевидно, золото . . . Га-а! И вдругъ здѣсь милліонъ! Сейчасъ мы откроемъ и посмотримъ . . .

Въ чемоданѣ щелкнулъ замокъ. Яркій свѣтъ ударилъ Тетку по глазамъ; она прыгнула вонъ изъ чемодана и, оглушенная ревомъ, быстро, во всю прыть забѣгала вокругъ своего хозяина и залилась звонкимъ лаемъ.

— Га! — закричалъ хозяинъ. — Дядюшка Ѳедоръ Тимоѳеичъ! Дорогая Тетушка! Милые родственники, чортъ бы васъ взялъ!

Онъ упалъ животомъ на песокъ, схватилъ кота и Тетку и принялся обнимать ихъ. Тетка, пока онъ тискалъ ее въ своихъ объятіяхъ, мелькомъ оглядѣла тотъ міръ, въ который занесла ее судьба, и, пораженная его грандіозностью, на минуту застыла отъ удивленія и восторга, потомъ вырвалась изъ объятій хозяина и отъ остроты впечатлѣнія, какъ волчокъ, закружилась на одномъ мѣстѣ. Новый міръ былъ великъ и полонъ яркаго свѣта; куда ни взглянешь, всюду, отъ пола до

потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего.

— Тетушка, прошу васъ сѣсть! — крикнулъ хозяинъ.

Помня, что это значитъ, Тетка вскочила на стулъ и сѣла. Она поглядѣла на хозяина. Глаза его, какъ всегда, глядѣли серьезно и ласково, но лицо, въ особенности ротъ и зубы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Самъ онъ хохоталъ, прыгалъ, подергивалъ плечами и дѣлалъ видъ, что ему очень весело въ присутствіи тысячей лицъ. Тетка повѣрила его веселости, вдругъ почувствовала всѣмъ своимъ тѣломъ, что на нее смотрятъ эти тысячи лицъ, подняла вверхъ свою лисью морду и радостно завыла.

— Вы, Тетушка, посидите, — сказалъ ей хозяинъ: — а мы съ дядюшкой попляшемъ камаринскаго.

Ѳедоръ Тимоѳеичъ въ ожиданіи, когда его заставятъ дѣлать глупости, стоялъ и равнодушно поглядывалъ по сторонамъ. Плясалъ онъ вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движеніямъ, по хвосту и по усамъ, что онъ глубоко презиралъ и толпу, и яркій свѣтъ, и хозяина, и себя... Протанцовавъ свою порцію, онъ зѣвнулъ и сѣлъ.

— Ну-съ, Тетушка, — сказалъ хозяинъ: — сначала мы съ вами споемъ, а потомъ попляшемъ. Хорошо?

Онъ вынулъ изъ кармана дудочку и заигралъ. Тетка, не вынося музыки, безпокойно задвигалась на стулѣ и завыла. Со всѣхъ сторонъ послышались ревъ и аплодисменты. Хозяинъ поклонился и,

когда все стихло, продолжалъ играть... Во время исполненія одной очень высокой ноты, гдѣ-то наверху среди публики кто-то громко ахнулъ.

— Тятька! — крикнулъ дѣтскій голосъ. — А вѣдь это Каштанка!

— Каштанка и есть! — подтвердилъ пьяненькій дребезжащій теноръ. — Каштанка! Ѳедюшка, это, накажи Богъ, Каштанка! Фюйть!

Кто-то на галлереѣ свистнулъ, и два голоса, одинъ — дѣтскій, другой — мужской, громко позвали:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка вздрогнула и посмотрѣла туда, гдѣ кричали. Два лица: одно водосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое — пухлое, краснощекое и испуганное — ударили ее по глазамъ, какъ раньше ударилъ яркій свѣтъ... Она вспомнила, упала со стула и забилась на пескѣ, потомъ вскочила и съ радостнымъ визгомъ бросилась къ этимъ лицамъ. Раздался оглушительный ревъ, пронизанный насквозь свистками и пронзительнымъ дѣтскимъ крикомъ:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка прыгнула черезъ барьеръ, потомъ черезъ чье-то плечо, очутилась въ ложѣ; чтобы попасть въ слѣдующій ярусъ, нужно было перескочить высокую стѣну; Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назадъ по стѣнѣ. Затѣмъ она переходила съ рукъ на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше и, наконецъ, попала на галерку...

Спустя полчаса, Каштанка шла уже по улицѣ за людьми, отъ которыхъ пахло клеемъ и лакомъ. Лука Александрычъ покачивался и инстинктивно, наученный опытомъ, старался держаться подальше отъ канавы.

— Въ безднѣ грѣховней валяюся во утробѣ моей . . . — бормоталъ онъ. — А ты, Каштанка, — недоумѣніе. Супротивъ человѣка ты все равно, что плотникъ супротивъ столяра.

Рядомъ съ нимъ шагалъ Ѳедюшка въ отцовскомъ картузѣ. Каштанка глядѣла имъ обоимъ въ спины, и ей казалось, что она давно уже идетъ за ними и радуется, что жизнь ея не обрывалась ни на минуту.

Вспоминала она комнатку съ грязными обоями, гуся, Ѳедора Тимоѳеича, вкусные обѣды, ученье, циркъ, но все это представлялось ей теперь, какъ длинный, перепутанный, тяжелый сонъ . . .

ПОЧТА

Было три часа ночи. Почтальонъ, совсѣмъ уже готовый въ дорогу, въ фуражкѣ, въ пальто и съ заржавленной саблей въ рукахъ, стоялъ около двери и ждалъ, когда ямщики кончатъ укладывать почту на только-что поданную тройку. Заспанный пріемщикъ сидѣлъ за своимъ столомъ, похожимъ на прилавокъ, что-то писалъ на бланкѣ и говорилъ:

— Мой племянникъ студентъ просится сейчасъ ѣхать на станцію. Такъ ты того, Игнатьевъ, посади его съ собой на тройку и довези. Хоть это и не дозволено, чтобъ постороннихъ съ почтой возить, ну, да что-жъ дѣлать! Чѣмъ лошадей для него нанимать, такъ пусть лучше даромъ проѣдетъ.

— Готово! — послышался крикъ со двора.

— Ну, поѣзжай съ Богомъ, — сказалъ пріемщикъ. — Который ямщикъ ѣдетъ?

— Семенъ Глазовъ.

— Поди распишись.

Почтальонъ расписался и вышелъ. У входа въ почтовое отдѣленіе темнѣла тройка. Лошади стояли неподвижно, только одна изъ пристяжныхъ

безпокойно переминалась съ ноги на ногу и встряхивала головой, отчего изрѣдка позвякивалъ колокольчикъ. Тарантасъ съ тюками казался чернымъ пятномъ, возлѣ него лѣниво двигались два силуэта: студентъ съ чемоданомъ въ рукахъ и ямщикъ. Послѣдній курилъ носогрѣйку; огонекъ носогрѣйки двигался въ потемкахъ, потухалъ и вспыхивалъ; на мгновеніе освѣщалъ онъ то кусокъ рукава, то мохнатые усы съ большимъ, мѣднокраснымъ носомъ, то нависшія, суровыя брови.

Почтальонъ помялъ руками тюки, положилъ на нихъ саблю и вскочилъ на тарантасъ. Студентъ нерѣшительно полѣзъ за нимъ и, толкнувъ его нечаянно локтемъ, сказалъ робко и вѣжливо: «Виноватъ!» Носогрѣйка потухла. Изъ почтоваго отдѣленія вышелъ пріемщикъ, какъ былъ, въ одной жилеткѣ и въ туфляхъ; пожимаясь отъ ночной сырости и покрякивая, онъ прошелся около тарантаса и сказалъ:

— Ну, съ Богомъ! Кланяйся, Михайло, матери! Всѣмъ кланяйся. А ты, Игнатьевъ, не забудь передать пакетъ Быстрецову . . . Трогай!

Ямщикъ забралъ вожжи въ одну руку, высморкался и, поправивъ подъ собою сидѣнье, чмокнулъ.

— Кланяйся же! — повторилъ пріемщикъ.

Колокольчикъ что-то прозвякалъ бубенчикамъ, бубенчики ласково отвѣтили ему. Тарантасъ взвизгнулъ, тронулся, колокольчикъ заплакалъ, бубенчики засмѣялись. Ямщикъ, приподнявшись, два раза хлестнулъ по безпокойной пристяжной, и тройка глухо застучала по пыльной дорогѣ.

Городишка спалъ. По обѣ стороны широкой улицы чернѣли дома и деревья, и не было видно ни одного огонька. По небу, усѣянному звѣздами, кое-гдѣ тянулись узкія облака, и тамъ, гдѣ скоро долженъ былъ начаться разсвѣтъ, стоялъ узкій лунный серпъ; но ни звѣзды, которыхъ было много, ни полумѣсяцъ, казавшійся бѣлымъ, не проясняли ночного воздуха. Было холодно, сыро и пахло осенью.

Студентъ, считавшій долгомъ вѣжливости ласково поговорить съ человѣкомъ, который не отказался взять его съ собой, началъ:

— Лѣтомъ въ это время уже свѣтло, а теперь еще даже зари не видно. Прошло лѣто!

Студентъ поглядѣлъ на небо и продолжалъ:

— Даже по небу видно, что уже осень. Посмотрите направо. Видите три звѣзды, которыя стоятъ рядомъ по одной линіи? Это созвѣздіе Оріона, которое появляется на нашемъ полушаріи только въ сентябрѣ.

Почтальонъ, засунувшій руки въ рукава и по уши ушедшій въ воротникъ своего пальто, не пошевельнулся и не взглянулъ на небо. Повидимому, созвѣздіе Оріона не интересовало его. Онъ привыкъ видѣть звѣзды и, вѣроятно, онѣ давно уже надоѣли ему. Студентъ помолчалъ немного и сказалъ:

— Холодно! Пора бы ужъ быть разсвѣту. Вамъ извѣстно, въ которомъ часу восходитъ теперь солнце?

— Что-съ?

— Въ которомъ часу восходитъ солнце?

— Въ шестомъ! — отвѣтилъ ямщикъ.

Тройка выѣхала изъ города. Теперь уже по обѣ стороны видны были только плетни огородовъ и одинокія ветлы, а впереди все застилала мгла. Здѣсь на просторѣ полумѣсяцъ казался болѣе и звѣзды сіяли ярче. Но вотъ пахнуло сыростью; почтальонъ глубже ушелъ въ воротникъ, и студентъ почувствовалъ, какъ непріятный холодъ пробѣжалъ сначала около ногъ, потомъ по тюкамъ, по рукамъ, по лицу. Тройка пошла тише; колокольчикъ замеръ, точно и онъ озябъ. Послышался плескъ воды, и подъ ногами лошадей, и около колесъ запрыгали звѣзды, отражавшіяся въ водѣ.

А минутъ черезъ десять стало такъ темно, что ужъ не было видно ни звѣздъ, ни полумѣсяца. Это тройка въѣхала въ лѣсъ. Колючія еловыя вѣтви то и дѣло били студента по фуражкѣ и паутина садилась ему на лицо. Колеса и копыта стучали по корневищамъ и тарантасъ покачивался, какъ пьяный.

— Вези по дорогѣ! — сказалъ сердито почтальонъ. — Что по краю везешь? Мнѣ всю рожу вѣтками расцарапало! Бери правѣй!

Но тутъ едва не произошло несчастье. Тарантасъ вдругъ подскочилъ, точно его передернула судорога, задрожалъ и съ визгомъ, сильно накреняясь то вправо, то влѣво, съ страшной быстротой понесся по просѣкѣ. Лошади чего-то испугались и понесли.

— Тпррр! Тпррр! — испуганно закричалъ ямщикъ. — Тпррр . . . дьяволы!

Подскакивавшій студентъ, чтобы сохранить равновѣсіе и не вылетѣть изъ тарантаса, нагнулся впередъ и сталъ искать, за что бы ухватиться, но кожаные тюки были скользки, и ямщикъ, за поясъ котораго ухватился было студентъ, самъ подскакивалъ и каждое мгновеніе готовъ былъ свалиться. Сквозь шумъ колесъ и визгъ тарантаса послышалось, какъ слетѣвшая сабля звякнула о землю, потомъ, немного погодя, что-то раза два глухо ударилось позади тарантаса.

— Тпррр! — раздирающимъ голосомъ кричалъ ямщикъ, перегибаясь назадъ. — Стой!

Студентъ упалъ лицомъ на его сидѣнье и ушибъ себѣ лобъ, но тотчасъ же его перегнуло назадъ, подбросило, и онъ сильно ударился спиной о задокъ тарантаса. «Падаю!» — мелькнуло въ его головѣ, но въ это время тройка вылетѣла изъ лѣса на просторъ, круто повернула направо и, застучавъ по бревенчатому мосту, остановилась, какъ вкопанная, и отъ такой внезапной остановки студента по инерціи опять перегнуло впередъ.

Ямщикъ и студентъ — оба задыхались. Почтальона въ тарантасѣ не было. Онъ вылетѣлъ вмѣстѣ съ саблей, чемоданомъ студента и однимъ тюкомъ.

— Стой, подлецъ! Сто-ой! — послышался изъ лѣса его крикъ. — Сволочь проклятая! — кричалъ онъ, подбѣгая къ тарантасу, и въ его плачущемъ голосѣ слышались боль и злоба. — Анаѳема, чтобъ ты издохъ! — крикнулъ онъ, подскакивая къ ямщику и замахиваясь на него кулакомъ.

— Экая исторія, Господи помилуй! — бормоталъ ямщикъ виноватымъ голосомъ, поправляя что-то около лошадиныхъ мордъ. — А все чортова пристяжная! Молодая проклятая, только недѣля, какъ въ упряжкѣ ходитъ. Ничего идетъ, а какъ только съ горы — бѣда! Ссадить бы ей морду раза три, такъ не стала бы баловать . . . Сто-ой! А, чортъ!

Пока ямщикъ приводилъ въ порядокъ лошадей и искалъ по дорогѣ чемоданъ, тюкъ и саблю, почтальонъ продолжалъ плачущимъ, визжащимъ отъ злобы голосомъ осыпать его ругательствами. Уложивъ кладь, ямщикъ безъ всякой надобности провелъ лошадей шаговъ сто, поворчалъ на безпокойную пристяжную и вскочилъ на козлы.

Когда страхъ прошелъ, студенту стало смѣшно и весело. Первый разъ въ жизни ѣхалъ онъ ночью на почтовой тройкѣ, и только-что пережитая встряска, полетъ почтальона и боль въ спинѣ ему казались интереснымъ приключеніемъ. Онъ закурилъ папиросу и сказалъ со смѣхомъ:

— А вѣдь этакъ можно себѣ шею свернуть! Я едва-едва не слетѣлъ и даже не замѣтилъ, какъ вы вылетѣли. Воображаю, какая ѣзда должна быть осенью!

Почтальонъ молчалъ.

— А вы давно ѣздите съ почтой? — спросилъ студентъ.

— Одиннадцать лѣтъ.

— Ого! Каждый день?

— Каждый. Отвезу эту почту и сейчасъ же назадъ ѣхать. А что?

За одиннадцать лѣтъ, при ежедневной ѣздѣ, навѣрное, было пережито не мало интересныхъ приключеній. Въ ясныя лѣтнія и въ суровыя осеннія ночи, или зимою, когда тройку съ воемъ кружитъ злая метель, трудно уберечься отъ страшнаго, жуткаго. Небось, не разъ носили лошади, увязалъ въ промоинѣ тарантасъ, нападали злые люди, сбивала съ пути вьюга . . .

— Воображаю, сколько приключеній было у васъ за одиннадцать лѣтъ! — сказалъ студентъ. — Что, должно-быть, страшно ѣздить?

Онъ говорилъ и ждалъ, что почтальонъ разскажетъ ему что-нибудь, но тотъ угрюмо молчалъ и уходилъ въ свой воротникъ. Начинало между тѣмъ свѣтать. Было незамѣтно, какъ небо мѣняло свой цвѣтъ; оно все еще казалось темнымъ, но уже видны были и лошади, и ямщикъ, и дорога. Лунный серпъ становился все бѣлѣе и бѣлѣе, а растянувшееся подъ нимъ облако, похожее на пушку съ лафетомъ, чуть-чуть желтѣло на своемъ нижнемъ краѣ. Скоро стало видно лицо почтальона. Оно было мокро отъ росы, сѣро и неподвижно, какъ у мертваго. На немъ застыло выраженіе тупой, угрюмой злобы, точно почтальонъ все еще чувствовалъ боль и продолжалъ сердиться на ямщика.

— Слава Богу, уже свѣтаетъ! — сказалъ студентъ, вглядываясь въ его злое, озябшее лицо. — Я совсѣмъ замерзъ. Ночи въ сентябрѣ холодныя, а стоитъ только взойти солнцу, и холода какъ не бывало. Мы скоро пріѣдемъ на станцію?

Почтальонъ поморщился и сдѣлалъ плачущее лицо.

— Какъ вы любите говорить, ей-Богу! — сказалъ онъ. — Развѣ не можете молча ѣхать?

Студентъ сконфузился и ужъ не трогалъ его всю дорогу. Утро наступало быстро. Мѣсяцъ поблѣднѣлъ и слился съ мутнымъ, сѣрымъ небомъ, облако все стало желто, звѣзды потухли, но востокъ все еще былъ холоденъ, такого же цвѣта, какъ и все небо, такъ что не вѣрилось, что за нимъ пряталось солнце . . .

Холодъ утра и угрюмость почтальона сообщились мало-по-малу и озябшему студенту. Онъ апатично глядѣлъ на природу, ждалъ солнечнаго тепла и думалъ только о томъ, какъ, должно-быть, жутко и противно бѣднымъ деревьямъ и травѣ переживать холодныя ночи. Солнце взошло мутное, заспанное и холодное. Верхушки деревьевъ не золотились отъ восходящаго солнца, какъ пишутъ обыкновенно, лучи не ползли по землѣ и въ полетѣ сонныхъ птицъ не замѣтно было радости. Каковъ былъ холодъ ночью, такимъ онъ остался и при солнцѣ . . .

Студентъ сонно и хмуро поглядѣлъ на завѣшенныя окна усадьбы, мимо которой проѣзжала тройка. За окнами, подумалъ онъ, вѣроятно, спятъ люди самымъ крѣпкимъ, утреннимъ сномъ и не слышатъ почтовыхъ звонковъ, не ощущаютъ холода, не видятъ злого лица почтальона; а если и разбудитъ колокольчикъ какую-нибудь барышню, то она повернется на другой бокъ, улыбнется отъ избытка

тепла и покоя и, поджавъ ноги, положивъ руку подъ щеку, заснетъ еще крѣпче.

Поглядѣлъ студентъ на прудъ, который блестѣлъ около усадьбы, и вспомнилъ о карасяхъ и щукахъ, которые находятъ возможнымъ жить въ холодной водѣ . . .

— Постороннихъ не велѣно возить . . . — заговорилъ неожиданно почтальонъ. — Не дозволено! А ежели не дозволено, то и не зачѣмъ садиться . . . Да. Мнѣ, положимъ, все равно, а только я этого не люблю и не желаю.

— Отчего же вы раньше молчали, если это вамъ не нравится?

Почтальонъ ничего не отвѣтилъ и продолжалъ глядѣть недружелюбно, со злобой. Когда, немного погодя, тройка остановилась у подъѣзда станціи, студентъ поблагодарилъ и вылѣзъ изъ тарантаса. Почтовый поѣздъ еще не приходилъ. На запасномъ пути стоялъ длинный товарный поѣздъ; на тендерѣ машинистъ и его помощникъ, съ лицами влажными отъ росы, пили изъ грязнаго жестяного чайника чай. Вагоны, платформа, скамьи — все было мокро и холодно. До прихода поѣзда студентъ стоялъ у буфета и пилъ чай, а почтальонъ, засунувъ руки въ рукава, все еще со злобой на лицѣ, одиноко шагалъ по платформѣ и глядѣлъ себѣ подъ ноги.

На кого онъ сердился? На людей, на нужду, на осеннія ночи?

НЕПРІЯТНОСТЬ

Земскій врачъ Григорій Ивановичъ Овчинниковъ, человѣкъ лѣтъ 35, худосочный и нервный, извѣстный своимъ товарищамъ небольшими работами по медицинской статистикѣ и горячею привязанностью къ такъ-называемымъ «бытовымъ вопросамъ», какъ-то утромъ дѣлалъ у себя въ больницѣ обходъ палатъ. За нимъ, по обыкновенію, слѣдовалъ его фельдшеръ Михаилъ Захаровичъ, пожилой человѣкъ, съ жирнымъ лицомъ, плоскими сальными волосами и съ серьгой въ ухѣ.

Едва докторъ началъ обходъ, какъ ему стало казаться очень подозрительнымъ одно пустое обстоятельство, а именно: жилетка фельдшера топорщилась въ складки и упрямо задиралась вверхъ, несмотря на то, что фельдшеръ то и дѣло обдергивалъ и поправлялъ ее. Сорочка у фельдшера была помята и тоже топорщилась; на черномъ, длинномъ сюртукѣ, на панталонахъ и даже на галстукѣ кое-гдѣ бѣлѣлъ пухъ... Очевидно, фельдшеръ спалъ всю ночь не раздѣваясь и, судя по выраженію, съ какимъ онъ теперь обдергивалъ жилетку и поправлялъ галстукъ, одежда стѣсняла его.

Докторъ пристально поглядѣлъ на него и понялъ, въ чемъ дѣло. Фельдшеръ не шатался, отвѣчалъ на вопросы складно, но угрюмо-тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробѣгавшая по шеѣ и рукамъ, безпорядокъ въ одеждѣ, а главное — напряженныя усилія надъ самимъ собой и желаніе замаскировать свое состояніе свидѣтельствовали, что онъ только-что всталъ съ постели, не выспался и былъ пьянъ, пьянъ тяжело, со вчерашняго... Онъ переживалъ мучительное состояніе «перегара», страдалъ и, повидимому, былъ очень недоволенъ собой.

Докторъ, не любившій фельдшера и имѣвшій на то свои причины, почувствовалъ сильное желаніе сказать ему: — «Я вижу, вы пьяны!» Ему вдругъ стали противны жилетка, длиннополый сюртукъ, серьга въ мясистомъ ухѣ, но онъ сдержалъ свое злое чувство и сказалъ мягко и вѣжливо, какъ всегда:

— Давали Герасиму молока?

— Давали-съ... — отвѣтилъ Михаилъ Захарычъ тоже мягко.

Разговаривая съ больнымъ Герасимомъ, докторъ взглянулъ на листокъ, гдѣ записывалась температура, и, почувствовавъ новый приливъ ненависти, сдержалъ дыханіе, чтобы не говорить, но не выдержалъ и спросилъ грубо и задыхаясь:

— Отчего температура не записана?

— Нѣтъ, записана-съ! — сказалъ мягко Михаилъ Захарычъ, но, поглядѣвъ въ листокъ и убѣдившись, что температура въ самомъ дѣлѣ не записана, онъ

растерянно пожалъ плечами и пробормоталъ: — Не знаю-съ, это, должно-быть, Надежда Осиповна...

— И вчерашняя вечерняя не записана! — продолжалъ докторъ. — Только пьянствуете, чортъ васъ возьми! И сейчасъ вы пьяны, какъ сапожникъ! Гдѣ Надежда Осиповна?

Акушерки Надежды Осиповны не было въ палатахъ, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязкахъ. Докторъ поглядѣлъ вокругъ себя, и ему стало казаться, что въ палатѣ не убрано, что все разбросано, ничего, что нужно, не сдѣлано и что все такъ же топорщится, мнется и покрыто пухомъ, какъ противная жилетка фельдшера, и ему захотѣлось сорвать съ себя бѣлый фартукъ, накричать, бросить все, плюнуть и уйти. Но онъ сдѣлалъ надъ собою усиліе и продолжалъ обходъ.

За Герасимомъ слѣдовалъ хирургическій больной съ воспаленіемъ клѣтчатки во всей правой рукѣ. Этому нужно было сдѣлать перевязку. Докторъ сѣлъ передъ нимъ на табуретъ и занялся рукой.

«Это вчера они гуляли на именинахъ . . . — думалъ онъ, медленно снимая повязку. — Погодите, я покажу вамъ именины! Впрочемъ, что я могу сдѣлать? Ничего я не могу».

Онъ нащупалъ на вспухшей, багровой рукѣ гнойникъ и сказалъ:

— Скальпель!

Михаилъ Захарычъ, старавшійся показать, что онъ крѣпко стоитъ на ногахъ и годенъ для дѣла, рванулся съ мѣста и быстро подалъ скальпель.

— Не этотъ! Дайте изъ новыхъ, — сказалъ докторъ.

Фельдшеръ засѣменилъ къ стулу, на которомъ стоялъ ящикъ съ перевязочнымъ матеріаломъ, и сталъ торопливо рыться въ немъ. Онъ долго шептался о чемъ-то съ сидѣлками, двигалъ ящикомъ по стулу, шуршалъ, что-то раза два уронилъ, а докторъ сидѣлъ, ждалъ и чувствовалъ въ своей спинѣ сильное раздраженіе отъ шопота и шороха.

— Скоро же? — спросилъ онъ. — Вы, должно-быть, ихъ внизу забыли . . .

Фельдшеръ подбѣжалъ къ нему и подалъ два скальпеля, причемъ не уберегся и дыхнулъ въ его сторону.

— Это не тѣ! — сказалъ раздраженно докторъ. — Я говорю вамъ русскимъ языковъ, дайте изъ новыхъ. Впрочемъ, ступайте и проспитесь, отъ васъ несетъ, какъ изъ кабака! Вы невмѣняемы!

— Какихъ же вамъ еще ножей нужно? — спросилъ раздраженно фельдшеръ и медленно пожалъ плечами.

Ему было досадно на себя и стыдно, что на него въ упоръ глядятъ больные и сидѣлки, и чтобы показать, что ему не стыдно, онъ принужденно усмѣхнулся и повторилъ:

— Какихъ же вамъ еще ножей нужно?

Докторъ почувствовалъ на глазахъ слезы и дрожь въ пальцахъ. Онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе и проговорилъ дрожащимъ голосомъ:

— Ступайте проспитесь! Я не желаю говорить съ пьянымъ . . .

— Вы можете только за дѣло съ меня взыскивать, — продолжалъ фельдшеръ: — а ежели я, положимъ, выпивши, то никто не имѣетъ права мнѣ указывать. Вѣдь я служу? Что-жъ вамъ еще! Вѣдь служу?

Докторъ вскочилъ и, не отдавая себѣ отчета въ своихъ движеніяхъ, размахнулся и изо всей силы ударилъ фельдшера по лицу. Онъ не понималъ, для чего онъ это дѣлаетъ, но почувствовалъ большое удовольствіе оттого, что ударъ кулака пришелся какъ разъ по лицу и что человѣкъ солидный, положительный, семейный, набожный и знающій себѣ цѣну, покачнулся, подпрыгнулъ, какъ мячикъ, и сѣлъ на табуретъ. Ему страстно захотѣлось ударить еще разъ, но, увидѣвъ около ненавистнаго лица блѣдныя, встревоженныя лица сидѣлокъ, онъ пересталъ ощущать удовольствіе, махнулъ рукой и выбѣжалъ изъ палаты.

Во дворѣ встрѣтилась ему шедшая въ больницу Надежда Осиповна, дѣвица лѣтъ 27, съ блѣдно-желтымъ лицомъ и съ распущенными волосами. Ея розовое ситцевое платье было сильно стянуто въ подолѣ и отъ этого шаги ея были очень мелки и часты. Она шуршала платьемъ, подергивала плечами въ тактъ каждому своему шагу и покачивала головой такъ, какъ будто напѣвала мысленно что-то веселенькое.

«Ага, русалка!» — подумалъ докторъ, вспомнивъ, что въ больницѣ акушерку дразнятъ русалкой, и ему стало пріятно отъ мысли, что онъ сейчасъ оборветъ эту мелкошагающую, влюбленную въ себя франтиху.

— Гдѣ это вы пропадаете? — крикнулъ онъ, поровнявшись съ ней. — Отчего вы не въ больницѣ? Температура не записана, вездѣ безпорядокъ, фельдшеръ пьянъ, вы спите до двѣнадцати часовъ!.. Извольте искать себѣ другое мѣсто! Здѣсь вы больше не служите!

Придя на квартиру, докторъ сорвалъ съ себя бѣлый фартукъ и полотенце, которымъ былъ подпоясанъ, со злобой швырнулъ то и другое въ уголъ и заходилъ по кабинету.

— Боже, что за люди, что за люди! — проговорилъ онъ. — Это не помощники, а враги дѣла! Нѣтъ силъ служить больше! Не могу! Я уйду!

Сердце его сильно билось, онъ весь дрожалъ и хотѣлъ плакать и, чтобы избавиться отъ этихъ ощущеній, онъ началъ успокаивать себя мыслями о томъ, какъ онъ правъ и какъ хорошо сдѣлалъ, что ударилъ фельдшера. Прежде всего гадко то, думалъ докторъ, что фельдшеръ поступилъ въ больницу не просто, а по протекціи своей тетки, служащей въ нянюшкахъ у предсѣдателя земской управы (противно бываетъ глядѣть на эту вліятельную тетушку, когда она, пріѣзжая лѣчиться, держитъ себя въ больницѣ какъ дома и претендуетъ на то, чтобы ее принимали не въ очередь). Дисциплинированъ фельдшеръ плохо, знаетъ мало и совсѣмъ не понимаетъ того, что знаетъ. Онъ нетрезвъ, дерзокъ, нечистоплотенъ, беретъ съ больныхъ взятки и тайкомъ продаетъ земскія лѣкарства. Всѣмъ также извѣстно, что онъ занимается практикой и лѣчитъ у молодыхъ мѣщанъ

секретныя болѣзни, причемъ употребляетъ какія-то собственныя средства. Добро бы это былъ просто шарлатанъ, какихъ много, но это шарлатанъ убѣжденный и втайнѣ протестующій. Тайкомъ отъ доктора онъ ставитъ приходящимъ больнымъ банки и пускаетъ имъ кровь, на операціяхъ присутствуетъ съ неумытыми руками, ковыряетъ въ ранахъ всегда грязнымъ зондомъ — этого достаточно, чтобы понять, какъ глубоко и храбро презираетъ онъ докторскую медицину съ ея ученостью и педантизмомъ.

Дождавшись, когда пальцы перестали дрожать, докторъ сѣлъ за столъ и написалъ письмо къ предсѣдателю управы: «Уважаемый Левъ Трофимовичъ! Если, по полученіи этого письма, ваша управа не уволитъ фельдшера Смирновскаго и не предоставитъ мнѣ права самому выбирать себѣ помощниковъ, то я сочту себя вынужденнымъ (не безъ сожалѣнія, конечно) просить васъ не считать уже меня болѣе врачомъ N — ской больницы и озаботиться пріисканіемъ мнѣ преемника. Почтеніе Любовь Ѳедоровнѣ и Юсу. Уважающій Г. Овчинниковъ». Прочитавъ это письмо, докторъ нашелъ, что оно коротко и недостаточно холодно. Къ тому же почтеніе Любовь Ѳедоровнѣ и Юсу (такъ дразнили младшаго сына предсѣдателя) въ дѣловомъ, офиціальномъ письмѣ было болѣе чѣмъ неумѣстно.

«Какой тутъ къ чорту Юсъ?» — подумалъ докторъ, изорвалъ письмо и сталъ придумывать другое. — «Милостивый государь» . . . — думалъ онъ, садясь

у открытаго окна и глядя на утокъ съ утятами, которыя, покачиваясь и спотыкаясь, спѣшили по дорогѣ, должно-быть, къ пруду; одинъ утенокъ подобралъ на дорогѣ какую-то кишку, подавился и поднялъ тревожный писк; другой подбѣжалъ къ нему, вытащилъ у него изо рта кишку и тоже подавился . . . Далеко около забора въ кружевной тѣни, какую бросали на траву молодыя липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленыхъ щей . . . Слышались голоса . . . Кучеръ Зотъ съ уздечкой въ рукѣ и больничный мужикъ Мануйло въ грязномъ фартукѣ стояли около сарая, о чемъ-то разговаривали и смѣялись.

«Это они о томъ, что я фельдшера ударилъ . . . — думалъ докторъ. — Сегодня уже весь уѣздъ будетъ знать объ этомъ скандалѣ . . . Итакъ: Милостивый государь! Если ваша управа не уволитъ» . . .

Докторъ отлично зналъ, что управа ни въ какомъ случаѣ не промѣняетъ его на фельдшера и скорѣе согласится не имѣть ни одного фельдшера во всемъ уѣздѣ, чѣмъ лишиться такого превосходнаго человѣка, какъ докторъ Овчинниковъ. Навѣрное, тотчасъ же по полученіи письма Левъ Трофимовичъ прикатитъ къ нему на тройкѣ и начнетъ: — «Да что вы это, батенька, вздумали? Голубушка, что же это такое, Христосъ съ вами? Зачѣмъ? Съ какой стати? Гдѣ онъ? Подать его сюда, каналью! Прогнать! Обязательно прогнать! Чтобъ завтра же его, подлеца, здѣсь не было!» — Потомъ онъ пообѣдаетъ съ

докторомъ, а послѣ обѣда ляжетъ вотъ на этомъ малиновомъ диванѣ животомъ вверхъ, закроетъ лицо газетой и захрапитъ; выспавшись, напьется чаю и увезетъ къ себѣ доктора ночевать. И вся исторія кончится тѣмъ, что и фельдшеръ останется въ больницѣ, и докторъ не подастъ въ отставку.

Доктору же въ глубинѣ души хотѣлось не такой развязки. Ему хотѣлось, чтобы фельдшерская тетушка восторжествовала и чтобы управа, не взирая на его восьмилѣтнюю, добросовѣстную службу, безъ разговоровъ и даже съ удовольствіемъ приняла бы его отставку. Онъ мечталъ о томъ, какъ онъ будетъ уѣзжать изъ больницы, къ которой привыкъ, какъ напишетъ письмо въ газету «Врачъ», какъ товарищи поднесутъ ему сочувственный адресъ . . .

На дорогѣ показалась русалка. Мелко шагая и шурша платьемъ, она подошла къ окну и спросила:

— Григорій Иванычъ, сами будете принимать больныхъ, или безъ васъ прикажете?

А глаза ея говорили: — «Ты погорячился, но теперь успокоился и тебѣ стыдно, но я великодушна и не замѣчаю этого».

— Хорошо, я сейчасъ, — сказалъ докторъ.

Онъ опять надѣлъ фартукъ, подпоясался полотенцемъ и пошелъ въ больницу.

«Не хорошо, что я убѣжалъ, когда ударилъ его . . . — думалъ онъ дорогой. — Вышло, какъ будто я сконфузился или испугался . . . Гимназиста разыгралъ . . . Очень нехорошо!»

Ему казалось, что когда онъ войдетъ въ палату, то больнымъ будетъ неловко глядѣть на него и ему самому станетъ совѣстно, но когда онъ вошелъ, больные покойно лежали на кроватяхъ и едва обратили на него вниманіе. Лицо чахоточнаго Герасима выражало совершенное равнодушіе и какъ бы говорило: — «Онъ тебѣ не потрафилъ, ты его маненько поучилъ ... безъ этого, батюшка, нельзя».

Докторъ вскрылъ на багровой рукѣ два гнойника и наложилъ повязку, потомъ отправился въ женскую половину, гдѣ сдѣлалъ одной бабѣ операцію въ глазу, и все время за нимъ ходила русалка и помогала ему съ такимъ видомъ, какъ будто ничего не случилось и все обстояло благополучно. Послѣ обхода палатъ началась пріемка приходящихъ больныхъ. Въ маленькой пріемной доктора окно было открыто настежь. Стоило только сѣсть на подоконникъ и немножко нагнуться, чтобы увидѣть на аршинъ отъ себя молодую траву. Вчера вечеромъ былъ сильный ливень съ грозой, а потому трава немного помята и лоснится. Тропинка, которая бѣжитъ недалеко отъ окна и ведетъ къ оврагу, кажется умытой, и разбросанная по сторонамъ ея битая аптекарская посуда, тоже умытая, играетъ на солнцѣ и испускаетъ ослѣпительно-яркіе лучи. А дальше за тропинкой жмутся другъ къ другу молодыя елки, одѣтыя въ пышныя, зеленыя платья, за ними стоятъ березы съ бѣлыми, какъ бумага, стволами, а сквозь слегка трепещущую отъ вѣтра зелень

березъ видно голубое, бездонное небо. Когда выглянешь въ окно, то скворцы, прыгающіе по тропинкѣ, поворачиваютъ въ сторону окна свои глупые носы и рѣшаютъ: испугаться, или нѣтъ? И, рѣшивъ испугаться, они одинъ за другимъ, съ веселымъ крикомъ, точно потѣшаясь надъ докторомъ, не умѣющимъ летать, несутся къ верхушкамъ березъ . . .

Сквозь тяжелый запахъ іодоформа чувствуется свѣжесть и ароматъ весенняго дня . . . Хорошо дышать!

— Анна Спиридонова! — вызвалъ докторъ.

Въ пріемную вошла молодая баба въ красномъ платьѣ и помолилась на образъ.

— Что болитъ? — спросилъ докторъ.

Баба недовѣрчиво покосилась на дверь, въ которую вошла, и на дверцу, ведущую въ аптеку, подошла поближе къ доктору и шепнула:

— Дѣтей нѣту!

— Кто еще не записывался? — крикнула въ аптекѣ русалка. — Подходите записываться!

«Онъ уже тѣмъ скотина, — думалъ докторъ, изслѣдуя бабу: — что заставилъ меня драться первый разъ въ жизни. Я отродясь не дрался».

Анна Спиридонова ушла. Послѣ нея пришелъ старикъ съ дурной болѣзнью, потомъ баба съ тремя ребятишками въ чесоткѣ, и работа закипѣла. Фельдшеръ не показывался. За дверцей въ аптекѣ, шурша платьемъ и звеня посудой, весело щебетала русалка; то и дѣло она входила въ пріемную, чтобы помочь на операціи или взять рецепты, и

все съ такимъ видомъ, какъ будто все было благополучно.

«Она рада, что я ударилъ фельдшера, — думалъ докторъ, прислушиваясь къ голосу акушерки. — Вѣдь она жила съ фельдшеромъ, какъ кошка съ собакой, и для нея праздникъ, если его уволятъ. И сидѣлки, кажется, рады . . . Какъ это противно!»

Въ самый разгаръ пріемки ему стало казаться, что и акушерка, и сидѣлки, и даже больные нарочно стараются придать себѣ равнодушное и веселое выраженіе. Они какъ будто понимали, что ему стыдно и больно, но изъ деликатности дѣлали видъ, что не понимаютъ. И онъ, желая показать имъ, что ему вовсе не стыдно, кричалъ сердито:

— Эй, вы, тамъ! Затворяйте дверь, а то сквозитъ!

А ему ужъ было стыдно и тяжело. Принявши сорокъ пять больныхъ, онъ не спѣша вышелъ изъ больницы. Акушерка, уже успѣвшая побывать у себя на квартирѣ и надѣть на плечи ярко-пунцовый платокъ, съ папироской въ зубахъ и съ цвѣткомъ въ распущенныхъ волосахъ, спѣшила куда-то со двора, вѣроятно, на практику или въ гости. На порогѣ больницы сидѣли больные и молча грѣлись на солнышкѣ. Скворцы попрежнему шумѣли и гонялись за жуками. Докторъ глядѣлъ по сторонамъ и думалъ, что среди всѣхъ этихъ ровныхъ, безмятежныхъ жизней, какъ два испорченныхъ клавиша въ фортепіано, рѣзко выдѣлялись и никуда не годились только двѣ жизни: фельдшера и его. Фельдшеръ теперь, навѣрное, легъ, чтобы проспаться, но никакъ не можетъ уснуть отъ

мысли, что онъ виноватъ, оскорбленъ и потерялъ мѣсто. Положеніе его мучительно. Докторъ же, ранѣе никогда никого не бившій, чувствовалъ себя такъ, какъ будто навсегда потерялъ невинность. Онъ уже не обвинялъ фельдшера и не оправдывалъ себя, а только недоумѣвалъ: какъ это могло случиться, что онъ, порядочный человѣкъ, никогда не бившій даже собакъ, могъ ударить? Придя къ себѣ на квартиру, онъ легъ въ кабинетѣ на диванъ, лицомъ къ спинкѣ, и сталъ думать такимъ образомъ:

«Онъ человѣкъ нехорошій, вредный для дѣла; за три года, пока онъ служитъ, у меня накипѣло въ душѣ, но тѣмъ не менѣе мой поступокъ ничѣмъ не можетъ быть оправданъ. Я воспользовался правомъ сильнаго. Онъ мой подчиненный, виновать и къ тому же пьянъ, а я его начальникъ, правъ и трезвъ... Значитъ, я сильнѣе. Во-вторыхъ, я ударилъ его при людяхъ, которые считаютъ меня авторитетомъ, и такимъ образомъ я подалъ имъ отвратительный примѣръ»...

Доктора позвали обѣдать... Онъ съѣлъ нѣсколько ложекъ щей и, вставши изъ-за стола, опять легъ на диванъ.

«Что же теперь дѣлать? — продолжалъ онъ думать. — Надо возможно скорѣе дать ему удовлетвореніе... Но какимъ образомъ? Дуэли онъ, какъ практическій человѣкъ, считаетъ глупостью или не понимаетъ ихъ. Если въ той самой палатѣ, при сидѣлкахъ и больныхъ попросить у него извиненія, то это извиненіе удовлетворитъ только меня,

а не его; онъ, человѣкъ дурной, поймѣтъ мое извиненіе какъ трусость и боязнь, что онъ пожалуется на меня начальству. Къ тому же, это мое извиненіе въ конецъ расшатаетъ больничную дисциплину. Предложить ему денегъ? Нѣтъ, это безнравственно и похоже на подкупъ. Если теперь, положимъ, обратиться за разрѣшеніемъ вопроса къ нашему прямому начальству, т. е. къ управѣ . . . Она могла бы объявить мнѣ выговоръ, или уволить меня . . . Но этого она не сдѣлаетъ. Да и не совсѣмъ удобно вмѣшивать въ интимныя дѣла больницы управу, которая кстати же не имѣетъ на это никакого права» . . .

Часа черезъ три послѣ обѣда докторъ шелъ къ пруду купаться и думалъ:

«А не поступить ли мнѣ такъ, какъ поступаютъ всѣ при подобныхъ обстоятельствахъ? То-есть, пусть онъ подастъ на меня въ судъ. Я безусловно виноватъ, оправдываться не стану, и мировой присудитъ меня къ аресту. Такимъ образомъ оскорбленный будетъ удовлетворенъ, и тѣ, которые считаютъ меня авторитетомъ, увидятъ, что я былъ не правъ».

Эта идея улыбнулась ему. Онъ обрадовался и сталъ думать, что вопросъ рѣшенъ благополучно и что болѣе справедливаго рѣшенія не можетъ быть.

«Что-жъ, превосходно! — думалъ онъ, полѣзая въ воду и глядя, какъ отъ него убѣгали стаи мелкихъ, золотистыхъ карасиковъ. — Пусть подаетъ . . . Это для него тѣмъ болѣе удобно, что

наши служебныя отношенія уже порваны и одному изъ насъ послѣ этого скандала все равно ужъ нельзя оставаться въ больницѣ» . . .

Вечеромъ докторъ приказалъ заложить шарабанъ, чтобы ѣхать къ воинскому начальнику играть въ винтъ. Когда онъ, въ шляпѣ и въ пальто, совсѣмъ уже готовый въ путь, стоялъ у себя посреди кабинета и надѣвалъ перчатки, наружная дверь со скрипомъ отворилась и кто-то безшумно вошелъ въ переднюю.

— Кто тамъ? — спросилъ докторъ.

— Это я-съ . . . — глухо отвѣтилъ вошедшій.

У доктора вдругъ застучало сердце и весь онъ похолодѣлъ отъ стыда и какого-то непонятнаго страха. Фельдшеръ Михаилъ Захарычъ (это былъ онъ) тихо кашлянулъ и несмѣло вошелъ въ кабинетъ. Помолчавъ немного, онъ сказалъ глухимъ, виноватымъ голосомъ:

— Простите меня, Григорій Иванычъ!

Докторъ растерялся и не зналъ, что сказать. Онъ понялъ, что фельдшеръ пришелъ къ нему унижаться и просить прощенія не изъ христіанскаго смиренія и не ради того, чтобы своимъ смиреніемъ уничтожить оскорбителя, а просто изъ расчета: «сдѣлаю надъ собой усиліе, попрошу прощенія и, авось, меня не прогонятъ и не лишатъ куска хлѣба» . . . Что можетъ быть оскорбительнѣй для человѣческаго достоинства?

— Простите . . . — повторилъ фельдшеръ.

— Послушайте . . . — заговорилъ докторъ, стараясь не глядѣть на него и все еще не зная, что

сказать. — Послушайте . . . Я васъ оскорбилъ и . . . и долженъ понести наказаніе, то-есть удовлетворить васъ . . . Дуэлей вы не признаете . . . Впрочемъ, я самъ не признаю дуэлей. Я васъ оскорбилъ и вы . . . вы можете подать на меня жалобу мировому судьѣ, и я понесу наказаніе . . . А оставаться намъ тутъ вдвоемъ нельзя . . . Кто-нибудь изъ насъ, я или вы, долженъ уйти! (Боже мой! Я не то говорю! — ужаснулся докторъ. — Какъ ъглупо, какъ глупо!). Однимъ словомъ, подавайте прошеніе! А служить вмѣстѣ мы уже не можемъ! . . Я, или вы . . . Завтра же подавайте!

Фельдшеръ поглядѣлъ исподлобья на доктора, и въ его темныхъ, мутныхъ глазахъ вспыхнуло самое откровенное презрѣніе. Онъ всегда считалъ доктора не практическимъ, капризнымъ мальчишкой, а теперь презиралъ его за дрожь, за непонятную суету въ словахъ . . .

— И подамъ, — сказалъ онъ угрюмо и злобно.

— Да, и подавайте!

— А что-жъ вы думаете? Не подамъ? И подамъ . . . Вы не имѣете права драться. Да и стыдились бы! Дерутся только пьяные мужики, а вы образованный . . .

Въ груди доктора неожиданно встрепенулась вся его ненависть, и онъ закричалъ не своимъ голосомъ:

— Убирайтесь вонъ!

Фельдшеръ нехотя тронулся съ мѣста (ему какъ будто хотѣлось еще что-то сказать), пошелъ въ переднюю и остановился тамъ въ раздумьѣ. И что-то надумавъ, онъ рѣшительно вышелъ . . .

— Какъ глупо, какъ глупо! — бормоталъ докторъ по уходѣ его. — Какъ все это глупо и пошло!

Онъ чувствовалъ, что велъ себя сейчасъ съ фельдшеромъ какъ мальчишка, и ужъ понималъ, что всѣ его мысли насчетъ суда не умны, не рѣшаютъ вопроса, а только осложняютъ его.

«Какъ глупо! — думалъ онъ, сидя въ шарабанѣ и потомъ играя у воинскаго начальника въ винтъ. — Неужели я такъ мало образованъ и такъ мало знаю жизнь, что не въ состояніи рѣшить этого простого вопроса? Ну, что дѣлать?»

На другой день утромъ докторъ видѣлъ, какъ жена фельдшера садилась въ повозку, чтобы куда-то ѣхать, и подумалъ: «Это она къ тетушкѣ. Пусть!»

Больница обходилась безъ фельдшера. Нужно было написать заявленіе въ управу, но докторъ все еще никакъ не могъ придумать формы письма. Теперь смыслъ письма долженъ былъ быть таковъ: «Прошу уволить фельдшера, хотя виноватъ не онъ, а я». Изложить же эту мысль такъ, чтобы вышло не глупо и не стыдно — для порядочнаго человѣка почти невозможно.

Дня черезъ два или три доктору донесли, что фельдшеръ былъ съ жалобой у Льва Трофимовича. Предсѣдатель не далъ ему сказать ни одного слова, затопалъ ногами и проводилъ его крикомъ: «Знаю я тебя! Вонъ! Не желаю слушать!» Отъ Льва Трофимовича фельдшеръ поѣхалъ въ управу и подалъ тамъ ябеду, въ которой, не упоминая о пощечинѣ и ничего не прося для себя, доносилъ

управѣ, что докторъ нѣсколько разъ въ его присутствіи неодобрительно отзывался объ управѣ и предсѣдателѣ, что лѣчитъ докторъ не такъ, какъ нужно, ѣздитъ на участки неисправно и проч. Узнавъ объ этомъ, докторъ засмѣялся и подумалъ: «Этакій дуракъ!» и ему стало стыдно и жаль, что фельдшеръ дѣлаетъ глупости; чѣмъ больше глупостей дѣлаетъ человѣкъ въ свою защиту, тѣмъ онъ, значитъ, беззащитнѣе и слабѣе.

Ровно черезъ недѣлю послѣ описаннаго утра докторъ получилъ повѣстку отъ мирового судьи.

«Это ужъ совсѣмъ глупо . . . — думалъ онъ, расписываясь въ полученіи. — Глупѣе и придумать ничего нельзя».

И когда онъ въ пасмурное, тихое утро ѣхалъ къ мировому, ему ужъ было не стыдно, а досадно и противно. Онъ злился и на себя, и на фельдшера, и на обстоятельства . . .

— Возьму и скажу на судѣ: убирайтесь вы всѣ къ чорту! — злился онъ. — Вы всѣ ослы и ничего вы не понимаете!

Подъѣхавъ къ камерѣ мирового, онъ увидѣлъ на порогѣ трехъ своихъ сидѣлокъ, вызванныхъ въ качествѣ свидѣтельницъ, и русалку. При видѣ сидѣлокъ и жизнерадостной акушерки, которая отъ нетерпѣнія переминалась съ ноги на ногу и даже вспыхнула отъ удовольствія, когда увидѣла главнаго героя предстоящаго процесса, сердитому доктору захотѣлось налетѣть на нихъ ястребомъ и ошеломить: «Кто вамъ позволилъ уходить изъ больницы? Извольте сію минуту убираться домой!»

но онъ сдержалъ себя и, стараясь казаться покойнымъ, пробрался сквозь толпу мужиковъ въ камеру. Камера была пуста и цѣпь мирового висѣла на спинкѣ кресла. Докторъ пошелъ въ комнатку письмоводителя. Тутъ онъ увидѣлъ молодого человѣка съ тощимъ лицомъ и въ коломенковомъ пиджакѣ съ оттопыренными карманами — это былъ письмоводитель, и фельдшера, который сидѣлъ за столомъ и отъ нечего дѣлать перелистывалъ справки о судимости. При входѣ доктора, письмоводитель поднялся; фельдшеръ сконфузился и тоже поднялся.

— Александръ Архиповичъ еще не приходилъ? — спросилъ докторъ, конфузясь.

— Нѣтъ еще. Они дома . . . — отвѣтилъ письмоводитель.

Камера помѣщалась въ усадьбѣ мирового судьи, въ одномъ изъ флигелей, а самъ судья жилъ въ большомъ домѣ. Докторъ вышелъ изъ камеры и не спѣша направился къ дому. Александра Архиповича засталъ онъ въ столовой за самоваромъ. Мировой безъ сюртука и безъ жилетки, съ разстегнутой на груди рубахой стоялъ около стола и, держа въ обѣихъ рукахъ чайникъ, наливалъ себѣ въ стаканъ темнаго, какъ кофе, чаю; увидѣвъ гостя, онъ быстро придвинулъ къ себѣ другой стаканъ, налилъ его и, не здороваясь, спросилъ:

— Вамъ съ сахаромъ или безъ сахару?

Когда-то, очень давно, мировой служилъ въ кавалеріи; теперь ужъ онъ за свою долголѣтнюю службу по выборамъ состоялъ въ чинѣ дѣйствитель-

наго статскаго, но все еще не бросалъ ни своего военнаго мундира, ни военныхъ привычекъ. У него были длинные, полицмейстерскіе усы, брюки съ кантами, и всѣ его поступки и слова были проникнуты военной граціей. Говорилъ онъ, слегка откинувъ назадъ голову и уснащая рѣчь сочнымъ, генеральскимъ «мнэ-э-э . . .», поводилъ плечами и игралъ глазами; здороваясь или давая закурить, шаркалъ подошвами и при ходьбѣ такъ осторожно и нѣжно звякалъ шпорами, какъ будто каждый звукъ шпоръ причинялъ ему невыносимую боль. Усадивъ доктора за чай, онъ погладилъ себя по широкой груди и по животу, глубоко вздохнулъ и сказалъ:

— Н-да-съ . . . Можетъ-быть, желаете мнэ-э . . . водки выпить и закусить? Мнэ-э?

— Нѣтъ, спасибо, я сытъ.

Оба чувствовали, что имъ не миновать разговора о больничномъ скандалѣ, и обоимъ было неловко. Докторъ молчалъ. Мировой граціознымъ маніемъ руки поймалъ комара, укусившаго его въ грудь, внимательно оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ и выпустилъ, потомъ глубоко вздохнулъ, поднялъ глаза на доктора и спросилъ съ разстановкой:

— Послушайте, отчего вы его не прогоните?

Докторъ уловилъ въ его голосѣ сочувственную нотку; ему вдругъ стало жаль себя и онъ почувствовалъ утомленіе и разбитость отъ передрягъ, пережитыхъ въ послѣднюю недѣлю. Съ такимъ выраженіемъ, какъ будто терпѣніе его, наконецъ, лопнуло, онъ поднялся изъ-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказалъ:

— Прогнать! Какъ вы всѣ разсуждаете, ей-Богу . . . Удивительно, какъ вы всѣ разсуждаете! Да развѣ я могу его прогнать? Вы тутъ сидите и думаете, что въ больницѣ я у себя хозяинъ и дѣлаю все, что хочу! Удивительно, какъ вы всѣ разсуждаете! Развѣ я могу прогнать фельдшера, если его тетка служитъ въ нянькахъ у Льва Трофимыча и если Льву Трофимычу нужны такіе шептуны и лакеи, какъ этотъ Захарычъ? Что я могу сдѣлать, если земство ставитъ насъ, врачей, ни въ грошъ, если оно на каждомъ шагу бросаетъ намъ подъ ноги полѣнья? Чортъ ихъ подери, я не желаю служить, вотъ и все! Не желаю!

— Ну, ну, ну . . . Вы, душа моя, придаете ужъ слишкомъ много значенія, такъ сказать . . .

— Предводитель изо всѣхъ силъ старается доказать, что всѣ мы нигилисты, шпіонитъ и третируетъ насъ, какъ своихъ писарей. Какое онъ имѣетъ право пріѣзжать въ мое отсутствіе въ больницу и допрашивать тамъ сидѣлокъ и больныхъ? Развѣ это не оскорбительно? А этотъ вашъ юродивый Семенъ Алексѣичъ, который самъ пашетъ и не вѣруетъ въ медицину, потому что здоровъ и сытъ, какъ быкъ, громогласно и въ глаза обзываетъ насъ дармоѣдами и попрекаетъ кускомъ хлѣба! Да чортъ его возьми! Я работаю отъ утра до ночи, отдыха не знаю, я нужнѣе здѣсь, чѣмъ всѣ эти вмѣстѣ взятые юродивые, святоши, реформаторы и прочіе клоуны! Я потерялъ на работѣ здоровье, а меня вмѣсто благодарности попрекаютъ кускомъ хлѣба! Покорнѣйше

васъ благодарю! И каждый считаетъ себя въ правѣ совать свой носъ не въ свое дѣло, учить, контролировать! Этотъ вашъ членъ управы Камчатскій въ земскомъ собраніи дѣлалъ врачамъ выговоръ за то, что у насъ выходитъ много іодистаго калія и рекомендовалъ намъ быть осторожными при употребленіи кокаина! Что онъ понимаетъ, я васъ спрашиваю? Какое ему дѣло? Отчего онъ не учитъ васъ судить?

— Но . . . но вѣдь онъ хамъ, душа моя, холуй . . . На него нельзя обращать вниманіе . . .

— Хамъ, холуй, однако же вы выбрали этого свистуна въ члены и позволяете ему всюду совать свой носъ! Вы вотъ улыбаетесь! По-вашему все это мелочи, пустяки, но поймите же, что этихъ мелочей такъ много, что изъ нихъ сложилась вся жизнь, какъ изъ песчинокъ гора! Я больше не могу! Силъ нѣтъ, Александръ Архипычъ! Еще немного и, увѣряю васъ, я не только бить по мордасамъ, но и стрѣлять въ людей буду! Поймите, что у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человѣкъ, какъ и вы . . .

Глаза доктора налились слезами и голосъ дрогнулъ; онъ отвернулся и сталъ глядѣть въ окно. Наступило молчаніе.

— Н-да-съ, почтеннѣйшій . . . — пробормоталъ мировой въ раздумьѣ. — Съ другой же стороны, если разсудить хладнокровно, то . . . (мировой поймалъ комара и, сильно прищуривъ глаза, оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ, придавилъ и бросилъ въ полоскательную чашку) . . . то, видите

ли, и прогонять его нѣтъ резона. Прогоните, а на его мѣсто сядетъ другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемѣните вы сто человѣкъ, а хорошаго не найдете . . . Всѣ мерзавцы (мировой погладилъ себя подъ мышками и медленно закурилъ папиросу). Съ этимъ зломъ надо мириться. Я долженъ вамъ сказать, что-о въ настоящее время честныхъ и трезвыхъ работниковъ, на которыхъ вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенціи и мужиковъ, то-есть среди двухъ этихъ крайностей и только. Вы, такъ сказать, можете найти честнѣйшаго врача, превосходнѣйшаго педагога, честнѣйшаго пахаря или кузнеца, но средніе люди, то-есть, если такъ выразиться, люди, ушедшіе отъ народа и не дошедшіе до интеллигенціи, составляютъ элементъ ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честнаго и трезваго фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно! Я служу-съ въ юстиціи со временъ царя Гороха и во все время своей службы не имѣлъ еще ни разу честнаго и трезваго писаря, хотя и прогналъ ихъ на своемъ вѣку видимо-невидимо. Народъ безъ всякой моральной дисциплины, не говоря ужъ о-о-о-о принципахъ, такъ сказать . . .

«Зачѣмъ онъ это говоритъ? — подумалъ докторъ. — Не то мы съ нимъ говоримъ, что нужно».

— Вотъ не дальше, какъ въ прошлую пятницу, — продолжалъ мировой: — мой Дюжинскій учинилъ такую, можете себѣ представить, штуку. Созвалъ онъ къ себѣ вечеромъ какихъ-то пьяницъ,

чортъ ихъ знаетъ, кто они такіе, и всю ночь пропьянствовалъ съ ними въ камерѣ. Какъ вамъ это понравится? Я ничего не имѣю противъ питья. Чортъ съ тобой, пей, но зачѣмъ пускать въ камеру неизвѣстныхъ людей? Вѣдь, судите сами, выкрасть изъ дѣлъ какой-нибудь документъ, вексель и прочее — минутное дѣло! И что-жъ вы думаете? Послѣ той оргіи я долженъ былъ дня два провѣрять всѣ дѣла, не пропало ли что . . . Ну, что-жъ вы подѣлаете со стервецомъ? Прогнать? Хорошо-съ . . . А чѣмъ вы поручитесь, что другой не будетъ хуже?

— Да и какъ его прогонишь? — сказалъ докторъ. — Прогнать человѣка легко только на словахъ . . . Какъ я прогоню и лишу его куска хлѣба, если знаю, что онъ семейный, голодный? Куда онъ дѣнется со своей семьей?

«Чортъ знаетъ что, не то я говорю! — подумалъ онъ, и ему показалось страннымъ, что онъ никакъ не можетъ укрѣпить свое сознаніе на какой-нибудь одной, опредѣленной мысли, или на какомъ-нибудь одномъ чувствѣ. — Это оттого, что я не глубокъ и не умѣю мыслить», — подумалъ онъ.

— Средній человѣкъ, какъ вы назвали, не надеженъ, — продолжалъ онъ. — Мы его гонимъ, бранимъ, бьемъ по физіономіи, но вѣдь надо же войти и въ его положеніе. Онъ ни мужикъ, ни баринъ, ни рыба, ни мясо; прошлое у него горькое, въ настоящемъ у него только 25 рублей въ мѣсяцъ, голодная семья и подчиненность, въ будущемъ тѣ же 25 рублей и зависимое положеніе,

прослужи онъ хоть сто лѣтъ. У него ни образованія, ни собственности; читать и ходить въ церковь ему некогда, насъ онъ не слышитъ, потому что мы не подпускаемъ его къ себѣ близко. Такъ и живетъ изо дня въ день до самой смерти безъ надеждъ на лучшее, обѣдая впроголодь, боясь, что вотъ-вотъ его прогонятъ изъ казенной квартиры, не зная, куда приткнуть своихъ дѣтей. Ну, какъ тутъ, скажите, не пьянствовать, не красть? Гдѣ тутъ взяться принципамъ!

«Мы, кажется, ужъ соціальные вопросы рѣшаемъ, — подумалъ онъ. — И какъ нескладно, Господи! Да и къ чему все это?»

Послышались звонки. Кто-то въѣхалъ во дворъ и подкатилъ сначала къ камерѣ, потомъ къ крыльцу большого дома.

— Самъ пріѣхалъ, — сказалъ мировой, поглядѣвъ въ окно. — Ну, будетъ вамъ на орѣхи!

— А вы, пожалуйста, отпустите меня поскорѣе... — попросилъ докторъ. — Если можно, то разсмотрите мое дѣло не въ очередь. Ей-Богу, некогда.

— Хорошо, хорошо... Только я еще не знаю, батенька, подсудно ли мнѣ это дѣло. Отношенія вѣдь у васъ съ фельдшеромъ, такъ сказать, служебныя и къ тому же вы смазали его при исполненіи служебныхъ обязанностей. Впрочемъ, не знаю хорошенько. Спросимъ сейчасъ у Льва Трофимовича.

Послышались торопливые шаги и тяжелое дыханіе, и въ дверяхъ показался Левъ Трофимовичъ,

предсѣдатель, сѣдой и лысый старикъ съ длинной бородой и красными вѣками.

— Мое почтеніе . . . — сказалъ онъ, задыхаясь. — Уфъ, батюшки! Вели-ка, судья, подать мнѣ квасу! Смерть моя . . .

Онъ опустился въ кресло, но тотчасъ же быстро вскочилъ, подбѣжалъ къ доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорилъ визгливымъ теноромъ:

— Очень и чрезвычайно вамъ благодаренъ, Григорій Иванычъ! Одолжили, благодарю васъ! Во-вѣки-вѣковъ аминь не забуду! Такъ пріятели не дѣлаютъ! Какъ угодно, а это даже недобросовѣстно съ вашей стороны! Отчего вы меня не извѣстили? Что я вамъ? Кто? Врагъ, или посторонній человѣкъ? Врагъ я вамъ? Развѣ я вамъ когда-нибудь въ чемъ отказывалъ? А?

Тараща глаза и шевеля пальцами, предсѣдатель напился квасу, быстро вытеръ губы и продолжалъ:

— Очень, очень вамъ благодаренъ! Отчего вы меня не извѣстили? Если бы вы имѣли ко мнѣ чувства, пріѣхали бы ко мнѣ и по-дружески: — «Голубушка, Левъ Трофимычъ, такъ и такъ, молъ . . . Такого сорта исторія и прочее . . .» Я бы вамъ въ одинъ мигъ все устроилъ и не понадобилось бы этого скандала . . . Тотъ дуракъ, словно бѣлены объѣлся, шляется по уѣзду, кляузничаетъ да сплетничаетъ съ бабами, а вы, срамъ сказать, извините за выраженіе, затѣяли чортъ знаетъ что, заставили того дурака подать въ судъ!

Срамъ, чистый срамъ! Всѣ меня спрашиваютъ, въ чемъ дѣло, какъ и что, а я — предсѣдатель и ничего не знаю, что у васъ тамъ дѣлается. Вамъ до меня и надобности нѣтъ! Очень, очень вамъ благодаренъ, Григорій Иванычъ!

Предсѣдатель поклонился такъ низко, что даже побагровѣлъ весь, потомъ подошелъ къ окну и крикнулъ:

— Жигаловъ, позови сюда Михаила Захарыча! Скажи, чтобъ сію минуту сюда шелъ! Не хорошо съ! — сказалъ онъ, отходя отъ окна. — Даже жена моя обидѣлась, а ужъ на что, кажется, благоволитъ къ вамъ. Ужъ очень вы, господа, умствуете! Все норовите, какъ бы это по-умному, да по принципамъ, да со всякими выкрутасами, а выходитъ у васъ только одно: тѣнь наводите . . .

— Вы норовите все не по-умному, а у васъ-то что выходитъ? — спросилъ докторъ.

— Что у насъ выходитъ? А то выходитъ, что если бы я сейчасъ сюда не пріѣхалъ, то вы бы и себя осрамили, и насъ . . . Счастье ваше, что я пріѣхалъ!

Вошелъ фельдшеръ и остановился у порога. Предсѣдатель сталъ къ нему бокомъ, засунулъ руки въ карманы, откашлялся и сказалъ:

— Проси сейчасъ у доктора прощенія!

Докторъ покраснѣлъ и выбѣжалъ въ другую комнату.

— Вотъ видишь, докторъ не хочетъ принимать твоихъ извиненій! — продолжалъ предсѣдатель. — Онъ желаетъ, чтобъ ты не на словахъ, а на

дѣлѣ выказалъ свое раскаяніе. Даешь слово, что съ сегодняшняго дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?

— Даю . . . — угрюмо пробасилъ фельдшеръ.

— Смотри же! Бо-оже тебя сохрани! У меня въ одинъ мигъ потеряешь мѣсто! Если что случится, не проси милости . . . Ну, ступай домой . . .

Для фельдшера, который уже помирился со своимъ несчастьемъ, такой поворотъ дѣла былъ неожиданнымъ сюрпризомъ. Онъ даже поблѣднѣлъ отъ радости. Что-то онъ хотѣлъ сказать и протянулъ впередъ руку, но ничего не сказалъ, а тупо улыбнулся и вышелъ.

— Вотъ и все! — сказалъ предсѣдатель. — И суда никакого не нужно.

Онъ облегченно вздохнулъ и съ такимъ видомъ, какъ будто только-что совершилъ очень трудное и важное дѣло, оглядѣлъ самоваръ и стаканы, потеръ руки и сказалъ:

— Блажени миротворцы . . . Налей-ка мнѣ, Саша, стаканчикъ. А впрочемъ, вели сначала дать чего-нибудь закусить . . . Ну, и водочки . . .

— Господа, это невозможно! — сказалъ докторъ, входя въ столовую, все еще красный и ломая руки. — Это . . . это комедія! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать разъ судиться, чѣмъ рѣшать вопросы такъ водевильно. Нѣтъ, я не могу!

— Что же вамъ нужно? — огрызнулся на него предсѣдатель. — Прогнать? Извольте, я прогоню . . .

— Нѣтъ, не прогнать . . . Я не знаю, что мнѣ нужно, но такъ, господа, относиться къ жизни . . . ахъ, Боже мой! Это мучительно!

Докторъ нервно засуетился и сталъ искать своей шляпы и, не найдя ея, въ изнеможеніи опустился въ кресло.

— Гадко! — повторилъ онъ.

— Душа моя, — зашепталъ мировой: — отчасти я васъ не понимаю, такъ сказать . . . Вѣдь вы виноваты въ этомъ инцидентѣ! Хлобыстать по физіономіи въ концѣ девятнадцатаго вѣка — это, нѣкоторымъ образомъ, какъ хотите, не того . . . Онъ мерзавецъ, но-о-о, согласитесь, и вы поступили неосторожно . . .

— Конечно! — согласился предсѣдатель.

Подали водку и закуску. На прощанье докторъ машинально выпилъ рюмку и закусилъ редиской. Когда онъ возвращался къ себѣ въ больницу, мысли его заволакивались туманомъ, какъ трава въ осеннее утро.

«Неужели, — думалъ онъ: — въ послѣднюю недѣлю было такъ много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все кончилось такъ нелѣпо и пошло! Какъ глупо! Какъ глупо!»

Ему было стыдно, что въ свой личный вопросъ онъ впуталъ постороннихъ людей, стыдно за слова, которыя онъ говорилъ этимъ людямъ, за водку, которую онъ выпилъ по привычкѣ пить и жить зря, стыдно за свой не понимающій, не глубокій умъ . . . Вернувшись въ больницу, онъ тотчасъ же принялся за обходъ палатъ. Фельдшеръ ходилъ

около него, ступая мягко, какъ котъ, и мягко отвѣчая на вопросы . . . И фельдшеръ, и русалка, и сидѣлки дѣлали видъ, что ничего не случилось и что все было благополучно. И самъ докторъ изо всѣхъ силъ старался казаться равнодушнымъ. Онъ приказывалъ, сердился, шутилъ съ больными, а въ мозгу его копошилось:

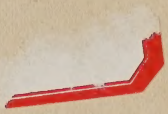
— Глупо, глупо, глупо . . .

Оглавленіе

Стр.

Тина 5
Тайный совѣтникъ 32
Письмо 59
Поцѣлуй 76
Пассажиръ I-го класса 104
Воры 115
Пари 140
Именины 151
Безъ заглавія 201
Каштанка 208
Почта 239
Непріятность 248

Напечатано и издано
Издательствомъ
«СЛОВО», Берлинъ



UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 113109471